

Е. А. Масальская-Сурина

ИСТОРИЯ  
С  
ГЕОГРАФИЕЙ



# Евгения Александровна Масальская-Сурина

## История с географией

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=65302306](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65302306)*  
*История с географией: им. Сабанинковых; Москва; 2019*  
*ISBN 978-5-82420-167-3*

### Аннотация

Евгения Александровна Масальская-Сурина (рожд. Шахматова, 1862-1940), автор «Воспоминаний о моем брате А. А. Шахматове», рассказывающих о молодых годах выдающегося русского филолога Алексея Александровича Шахматова. «История с географией» – это продолжение семейной хроники.

Еще в студенческие годы, в 1888 г. А. А. Шахматов познакомился с норвежцем Олафом Броком, приехавшим в Москву изучать русский язык. Между ними завязалась дружба. Масальская продолжала поддерживать отношения с Броком и после смерти брата в 1920 году. Машинописная копия «Истории с географией» была переправлена Броку и сохранилась в его архиве в Норвежской национальной библиотеке в Осло.

В 1903 году Евгения Александровна выходит замуж за Виктора Адамовича Масальского-Сурина, первое время они живут в фамильном имении Шахматовых. Но в 1908 году супруги решили обзавестись собственным хозяйством. Сначала

выбор падает на имение в Могилевской, затем в Волынской губернии. Закладные, кредиты, банки, посредники... В итоге Масальские покупают имение Глубокое в Виленской губернии. В начале Первой мировой войны Виктора Адамовича призывают на службу в армию, а в 1916 г. он умирает от дизентерии. После революции Глубокое оказывается за границей. Евгения Александровна несколько раз приезжает туда, пытаясь сохранить хозяйство, но с каждым годом это становится все труднее.

Такова история с географией, воспроизводящая атмосферу частной жизни начала XX века, служащая фоном к рассказу об академических делах брата и собственных исторических изысканиях Е. А. Масальской.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

# Содержание

Находка в Осло	6
Е. А. Масальская-Сурина и ее воспоминания	8
Часть I. Минск	56
Глава 1. Октябрь 1908. Перевод в Минск	56
Глава 2. Ноябрь 1908. Ликвидация земли	73
Глава 3. Декабрь 1908. Минское церковное историко-археологическое общество	86
Глава 4. Январь 1909. Шамордино	106
Глава 5. Февраль 1909. Кучково и Хоростень	127
Глава 6. Март-апрель 1909. Улогово-Лауданишки	143
Глава 7. Май-июнь 1909. Город Борисов – Альт-Лейцен	163
Глава 8. Июль 1909. Веречаты и Щавры	185
Часть II. Щавры	209
Глава 9. Август 1909. Запродажная	209
Глава 10. Сентябрь 1909. Купчая	227
Глава 11. Октябрь 1909. В Щаврах	242
Глава 12. Ноябрь-декабрь 1909. Обман Судомира	255
Конец ознакомительного фрагмента.	257

**Евгения**  
**Масальская-Сурина**  
**История с географией**

© Издательство им. Сабашниковых, 2019

© Т. П. Лённгрен, сост., вст. статья, примеч., 2019

© И. В. Матвеева, перевод, 2019

# Находка в Осло

В августе 2016 года в Осло, в архиве профессора славянских языков Олафа Брока, среди несистематизированного и неописанного материала я нашла рукопись в четырех частях под общим названием «История с географией». Автор этой рукописи – Евгения Александровна Масальская-Сурина (Шахматова, 1862 – 1940), старшая сестра академика Алексея Александровича Шахматова (1864 – 1920), автор «Воспоминаний о моем брате А. А. Шахматове», опубликованных в Издательстве им. Сабашниковых в 2012 году.

В изданных воспоминаниях повествование доходит до 1894 года, то есть до избрания Шахматова академиком. В неизданной рукописи, хранящейся в Москве<sup>1</sup>, речь идет о жизни Шахматова-академика с 1908 по 1914 год, а в рукописи, найденной в Осло, повествование доведено до декабря 1919 года. До находки в Осло о существовании последней части воспоминаний известно не было, но о том, что Евгения Александровна хотела завершить воспоминания о брате, упоминается в архивных документах.<sup>2</sup>

Несмотря на тяжелые условия, сложные отношения с близкими и невероятные страдания, Евгения Александров-

---

<sup>1</sup> РГАЛИ, ф. 318, оп. 1, ед. хр. 8 7, 1920-е годы, 491 л.

<sup>2</sup> РГАЛИ, ф. 318, оп. 1, ед. хр. 399, л. 5; НИОР РГБ, ф. 369, карт. 299, ед. хр. 42, л. 87-89.

на не прекращала работу над завершением воспоминаний, в которых светлый образ ее гениального брата-академика показан как бы со стороны, сквозь многогранную призму жизни большой дворянской семьи Шахматовых в период надвигающейся катастрофы революции 1917 года и в первые годы страшных потрясений в стране, охваченной красной чумой.

Найденные в Осло архивные материалы не только проливают свет на судьбу и окружение академика Шахматова в последние годы его жизни, но и приоткрывают неизвестные страницы жизни самой Евгении Александровны, заботливой старшей сестры, верного друга, любящей жены, одаренного исследователя, талантливового писателя и биографа, человека твердой воли и благородной души.

# Е. А. Масальская-Сурина и ее воспоминания

Жизнь Евгении Александровны сложилась так, что самые ее счастливые годы прошли в переездах и закончились трагедией: первые девять лет счастливого детства – в переездах с родителями, рано умершими; счастливые тринадцать лет замужества – в переездах с любимым мужем, скоропостижно скончавшимся в 1916 году.

О личности Евгении Александровны до сих пор известно было немного. Наиболее полное описание ее детских и юношеских лет находится в «Воспоминаниях о моем брате А. А. Шахматове», где по меткому определению И. А. Кубасова<sup>3</sup> «местами автор положительно собой заслоняет маленького брата».<sup>4</sup> Именно этот «изъясн» блестящего литературного труда Евгении Александровны помогает наглядно представить картину взросления и становления характера будущей мемуаристки в дворянской семье в последние десятилетия позапрошлого века.

Описание жизни Евгении Александровны в первые двадцать лет прошлого века складывается из мозаичных фраг-

---

<sup>3</sup> Кубасов Иван Андреевич (1875 – 1937), русский и советский литературовед и библиограф, специалист по русской литературе XIX века.

<sup>4</sup> РГАЛИ, ф. 318, д. 1, ед. хр. 398, л. 1.

ментов в найденной и теперь публикуемой здесь «Истории с географией», а отрывочные сведения о последних двадцати годах ее жизни, полных горя, страданий, мучений и отчаяния в бесконечной борьбе за выживание, разбросаны по архивам.

В течение четырех лет после переезда в 1894 году в Петербург избранного в академики Алексея Шахматова (Лели, как называли его в семье), энергичная Евгения управляла хозяйством в родовом поместье Губаревке, с Саратовской губернии и продолжала заниматься попечительской деятельностью. В голодные 1899-1901 годы она, как и в 1892 году, занималась устройством столовых для голодающих, яслей для детей, организацией общественных работ по устройству дорог, очистке прудов и колодцев в Херсонской, Таврической и Бессарабской губерниях. Осенью 1899 года норвежский славист Олаф Брок<sup>5</sup> был в диалектологической экспедиции на территории южных славян, в Бессарабии. В пись-

---

<sup>5</sup> Олаф Брок (Olaf Broch, 1867 – 1961), норвежский славист, первый профессор славянских языков Университета Осло (1900 – 1937), генеральный секретарь Норвежской академии наук (1924 – 1945), автор фундаментальных трудов по диалектологии и фонетике славянских языков («Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn» [1897], «Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда» [1907] «Очерк физиологии славянской речи» [1910] и др.); перевел на норвежский язык романы Л. Н. Толстого: «Анна Каренина» (1911) и «Братья Карамазовы» (1915). Автор публицистических работ, впервые переведенных на русский язык и опубликованных в Издательстве им. Сабашниковых в 2018: «Путевые заметки» (1902) и «Диктатура пролетариата» (1923).

ме к своему другу со студенческих лет и коллеге А. А. Шахматову он спрашивал: «Это ли Ваша сестра, которая работает в Бессарабии?»<sup>6</sup>

По окончании работы в Бессарабии Евгения вернулась в Губаревку и опять занялась управлением поместья. Летом 1902 года Олаф Брок, находясь в России по приглашению Императорской Академии Наук, навестил своего друга Шахматова в Губаревке, где тот с семьей проводил лето, и оставил такую запись в своих «Путевых заметках»: «В третьем доме живет сестра, энергичная Эжени, Евгения, которая сейчас, на самом деле, является управляющим поместья. В ее уютном, красиво обставленном салоне, бывшей библиотеке, с наступлением темноты мы часто пьем вечерний чай».<sup>7</sup>

В этом уютном доме Евгения готовилась к супружеской жизни. Еще в Бессарабии в Сарате в ноябре 1900 года она познакомилась со своим будущим мужем надворным советником Виктором Адамовичем Масальским-Суриным. В то время Виктор был женат, имел в этом браке двух детей, но брак был очень несчастливым. Влюбившись в Евгению, он пытался развестись, но его жена требовала внушительную сумму денег, без которой не давала согласия на развод. Таких денег у Виктора не было. Мучения продолжались в течение трех лет, и когда уже Евгения стала терять всякую надежду со-

---

<sup>6</sup> NB, Brevs. 337: из письма О. Брока к А. А. Шахматову от 13.1.1900.

<sup>7</sup> Олаф Брок. Диктатура пролетариата. М., Из-во им. Сабашниковых, 2018, с. 199.

единиться с любимым человеком, тетья Ольга Николаевна дала будущему зятю необходимую сумму, и вопрос с разводом был благополучно решен.

Но, как оказалось, жениться во второй раз по российским законам того времени было практически невозможно, поэтому свадьба была устроена за границей, о чем 12 августа 1903 года А. А. Шахматов писал своему учителю и наставнику Ф. Ф. Фортунатову<sup>8</sup>: «Пишу Вам, только что вернувшись из-за границы. Ездил туда с сестрой Евгенией Александровной и тетей устраивать свадьбу сестры. Она должна была повенчаться с разведенным и утратившим право на вступление в брак человеком. В России трудно было бы устроить такую свадьбу, пришлось бы прибегать к подкупу. Вот почему мы решили ехать за границу. Прямой путь вел нас в Вену. Сначала нас постигла полная неудача, и я ездил в Белград, надеясь добиться там успеха. Но и в Белграде не повезло, пришлось вернуться в Вену. После многих хлопот удалось наше дело, причем оно обставлено со всех сторон самым законным образом. Священник, венчавший сестру, оказался с епископской почти властью, а такая власть давала ему право, по его мнению, разрешить то, что было запрещено на-

---

<sup>8</sup> Фортунатов Филипп Фёдорович (1848 – 1914), российский лингвист, профессор по кафедре сравнительной грамматики индоевропейских языков Московского университета, член Российской академии наук (1902), основатель московской «формальной» (или «фортунатовской») лингвистической школы, один из наиболее значительных лингвистов дореволюционной России, учитель А. А. Шахматова и О. Брока.

шим духовным судам. Большую нравственную поддержку и помощь я нашел в Северьянове<sup>9</sup>, с которым провел несколько дней почти неразлучно. Он и я оказались единственными свидетелями венчания. Ягич<sup>10</sup>, узнавший от Северьянова, что я в Вене, также помог своей телеграммой из Абруции в местное гражданское правление, ставившее нам некоторые серьезные препятствия».<sup>11</sup>

Первые пять лет супружеской жизни прошли в Саратовской губернии. Вести хозяйство в имении становилось все труднее. С 1905 по 1908 год Шахматовы распродали почти всю свою землю. «В Саратовском уезде стоял опять период засух и неурожая. Крестьяне совсем не платили аренды, а банк собирал проценты все также усердно; пени росли с невероятной быстротой; приходилось занимать деньги и еще на них платить проценты, чтобы не лишиться последнего достояния на торгах Дворянского банка: так, в последние годы, уходила вся помещичья земля, и не в одной Саратовской губернии! Быстро, на нет, сходила вся дворянская

---

<sup>9</sup> Северьянов Сергей Николаевич (1840-е – 1918), палеограф, специалист по старославянскому языку, ученик Ф. Ф. Фортунатова.

<sup>10</sup> Ягич Игнатий Викентьевич (Vatroslav Jagić, 1838 – 1923), филолог-славист, палеограф, профессор Петербургского (1880 – 1886) и Венского (1886 – 1908) университетов, учитель А. А. Шахматова и О. Брока.

<sup>11</sup> Алексей Александрович Шахматов. Избранная переписка в трех томах. Том 1. Переписка с Ф. Ф. Фортунатовым, В. Н. Пертцем, В. М. Истриным. Санкт-Петербург, 2018, с. 325.

Русь». <sup>12</sup>

Из-за волнений, беспорядков и погромов, охвативших юг России, в ноябре 1905 года по настоянию брата и поддавшись на уговоры мужа Евгения Александровна, находившаяся в ожидании ребенка (первого она уже потеряла), уехала в Петербург. Поскольку в Петербурге тоже было беспокойно, то Алексей Александрович с супругой Натальей Александровной настояли на том, чтобы Евгения Александровна остановилась у них в квартире, и окружили ее заботой и вниманием. Рождение ребенка ожидалось около рождества, но мальчик родился 14 декабря и в тот же день умер. Алексей Александрович называл его маленьким Декабристом, поскольку он родился в день рождения декабриста Рылеева. «Эта кончина ребенка была так неожиданна, – пишет Масальская, – что Отт<sup>13</sup> назначил совет, чтобы выяснить, кто виноват: ребенок, мать или Институт? Виноватым оказался Институт: неуход, невнимание... Но как было его требовать в дни Московского восстания? Одновременно тогда погибло несколько младенцев (двадцать неудачных рождений)».

Одновременно с тяжелой новостью о смерти сына Виктор Адамович получил долгожданное сообщение о переводе в Минск. С одной стороны, объективно, Евгения Алек-

---

<sup>12</sup> Здесь и далее текст воспоминаний Е. А. Масальской «История с географией» цитируется по настоящему изданию.

<sup>13</sup> Отт Дмитрий Оскарович (1855 – 1929), профессор клинического института великой княгини Елены Павловны; с 1893 года – директор Императорского клинического повивального института.

сандровна понимала, что для мужа служба в Минске будет намного интереснее и перспективнее, чем в Саратове, но, с другой стороны, одна только мысль о расставании с родными и Губаревкой была для нее невыносима.

В этой сложной ситуации Евгения Александровна продолжала заниматься не только делами, связанными с именем, но и семейным архивом: она привела в порядок, описала и систематизировала обширный и богатый, главным образом вотчинный архив конца XVII – начала XIX веков. Историко-генеалогическое исследование Евгении Александровны<sup>14</sup> – это «очерк истории нескольких помещичьих семейств и имений Саратовского и Симбирского края. Старинный быт и уклад, родовые отношения, условия землевладения и сельского хозяйства, старо-дворянские службы, сведения генеалогического характера – все это в связанном и талантливо написанном повествовании изложено в статьях Е[вгении] А[лександровны] с такою полнотою, точностью, обстоятельностью и знанием предмета, которые делают ее работу вполне научно значительною»<sup>15</sup>, – писал генеалог и историк русской литературы, основатель Пушкинского дома Борис Львович Модзалевский.

Переехав в 1908 году в Минск, Масальские-Сурины хорошо устроились в апартаментах гостиницы «Греми». С од-

---

<sup>14</sup> Из семейной хроники: [Очерки] в 3-х частях. Е. А. Масальская-Сурина (Шахматова), Москва, 1907-1908.

<sup>15</sup> РГАЛИ, ф. 318, д. 1, ед. хр. 400, л. 1-2.

ной стороны, Евгению Александровну увлекала богатая история и предметы церковной старины Западного края, она стала активным членом Минского церковного историко-археологического комитета, принимала участие в заседаниях, выступала с докладами. Один из докладов Евгении Александровны, прочитанный на торжественном открытии историко-археологического комитета, был опубликован в журнале «Минская старина».<sup>16</sup> О научной значимости этой работы свидетельствует тот факт, что она до сих пор остается актуальной для современных исследователей истории Беларуси.<sup>17</sup>

Но, с другой стороны, как того и следовало ожидать, очень скоро городская жизнь начала тяготить привязанную к земле и хозяйству Евгению Александровну. Однако и жить постоянно в Губаревке она не могла, не желая надолго расставаться с любимым мужем. Поэтому вскоре после переезда на новое место службы в Западный край начались поиски имения, в котором можно было обустроить свой собственный уютный дом, обзавестись хозяйством и тем самым обеспечить не только свое благополучие, но и счастливую старость тети Ольги Николаевны, позаботиться о младшей сестре Ольге и иметь возможность принимать брата и его многодетную се-

---

<sup>16</sup> Е. А. Масальская-Сурина. Памятники старины (Лекция). Минская старина, вып. 1, 1909.

<sup>17</sup> А. А. Егорейченко. Древнейшие городища Белорусского Полесья (VII–VI вв. до н. э. – II в. н. э.), Минск, 1996, с. 4.

мью.

Покупка подходящего имени оказалась делом непростым. Проблемы возникали на каждом шагу: мошенники и аферисты, предлагавшие и настырно навязывавшие свои услуги, продававшие и перепродававшие заведомо убыточные имения с лесом, который был давно вырублен и продан, с обманом и подлогом в размерах земельных участков, махинациями банков и многое другое, что и составило канву «Истории с географией». Пять лет прошло в беспокойных поисках, сложных покупках, переездах, обустройствах, разочарованиях, изматывающих продажах, пока, наконец, в 1913 году не было найдено Глубокое, которым супруги Масальские-Сурины остались очень довольны и с наслаждением окунулись, наконец, в счастливую жизнь. Но очень скоро, в 1914 году, началась Первая мировая война. Практически вся Виленская губерния была оккупирована, враг приближался к Глубокому и находящемуся в нем Березвечскому монастырю. Началась эвакуация. Монахини эвакуировались в центр России, и Масальские-Сурины тоже были вынуждены покинуть свое имение.

Приближение врага, эвакуацию и положение в Глубоком Евгения Александровна описала в рассказе «Записки беженца»<sup>18</sup>: «Гром грянул над самой головой: пришел приказ Сино-

---

<sup>18</sup> Е. А. Масальская-Сурина. Записки беженца, Пгр., 1916, с. 10–14. Этот рассказ был переиздан в книге Памяць. Глыбоцкі раён. Мнинск, 1995, с. 95–102, и использован в истории описания Березвечского монастыря. Незначительно переработанный вариант этого рассказа был использован Е. А. Масальской-Сури-

да снимать колокола... Два дня снимали колокола Глубокской православной церкви, костела и в Березвечском монастыре... Трудно описать день 1-го сентября в Глубоком... Ежеминутно приезжала и приходила масса народа за помощью и советом. Просили лошадей, просили приютить вещи, просили проходные билеты... В час ночи пришло распоряжение генерала Потапова эвакуировать Глубокое. В 2 часа ночи уже выехала почта, духовенство, монастырь, все акцизное ведомство, доктора, учителя, чиновники, жители, как местные, так и приезжие. [...] Я была в Глубоком в начале октября. Наш мирный городок весь превращен в военный лагерь. Бесконечные обозы с провиантом и снарядами тянутся по всем трактам. Грохочут грузовики, шипят автомобили, скачут казаки. Жилые помещения все заняты войсками. Из брошенного монахинями Березвечского монастыря поднимаются наши летчики навстречу высоко парящему немецкому цеппелину».

С приближением военных действий к Глубокому жизнь в имении сначала содрогнулась, затем пошатнулась и начала рушиться. Виктор Адамович, как офицер запаса был мобилизован. В сентябре 1916 года в одной из служебных командировок он заболел дизентерией и скончался на руках у жены. Так навсегда ушло из жизни Евгении Александровны семейное счастье, радость бытия, первая и последняя любовь.

После кончины мужа Евгения Александровна переехала

к брату в Петроград, в квартиру при Академии. В этот трудный период жизни спасением оказалось знание латыни, которую Женя ненавидела в детстве и не хотела ее учить, но все-таки выучила, как того требовало домашнее образование в дворянской семье. Именно переводы скандинавских саг, в том числе и с латыни, помогли ей отвлечься и пережить тяжелую утрату. Инициатором обращения к переводам был брат Леля, к тому времени уже титулованный академик Шахматов. Однако для осуществления задуманного необходимо было найти подходящие для перевода тексты. В России таких текстов не оказалось, поэтому Алексей Александрович обратился за помощью к своему норвежскому другу и коллеге Олафу Броку: «Очень Вас прошу, помогите сестре. Ее очень волнует мысль дать перевод скандинавских саг, касающихся России. В этой заботе и предстоящей работе она найдет некоторое отвлечение от постигшего ее горя. Я, конечно, и в научных интересах хотел бы, чтобы издание было исполнено как следует, с должной полнотой».<sup>19</sup>

О том, что необходимые тексты из Норвегии были получены, переведены и проанализированы с требуемой академиком Шахматовым «должной полнотой», свидетельствуют как сохранившиеся архивные материалы объемом в две ты-

---

<sup>19</sup> Т. Lönngren. «Прошу не гневаться моим вопросам»: диалог переводчика с носителем языка (из переписки О. Брока с А. А. Шахматовым). *Poljarnyj vestnik: Norwegian Journal of Slavic Studies*, vol. 19, 2016, pp. 51-67.

сячи с лишним листов<sup>20</sup>, так и письмо Евгении Александровны к С. Ф. Ольденбургу<sup>21</sup>: «Когда я перевела с немецкого и латинского языка – шесть саг и прочитала их Ал[ексею] А[лександрови]чу буквально на смертном одре, за два дня до операции, он был поражен, изумлен тем, что в них выявилось, и выражал свое нетерпенье – скорее приняться за изучение этих древностей и приходил в отчаянье, что не мог ими заняться немедленно».<sup>22</sup>

Помня слова брата и осознавая важность этих переводов для отечественной науки, Евгения Александровна приложила немало усилий в поисках возможности издания хотя бы малой их части. Однако в начале 1930-х годов даже мысль о подобной публикации считалась крамольной и жестоко преследовалась. В конце декабря 1933 года, когда уже в полную силу фабриковалось «дело славистов» и малейшее сношение с Западом считалось тяжким преступлением<sup>23</sup>, Евгения Александровна писала: «Скажу откровенно, если бы в настоящее время наше прошлое, наша история, не была бы всем ненавистна, я была бы счастлива видеть здесь напеча-

---

<sup>20</sup> РГАЛИ, оп.1, ед. хр. 1-11, 2385 л., 17, 7 л.; оп. 2, ед. хр. 12, 131 л.

<sup>21</sup> Ольденбург Сергей Фёдорович (1863 – 1934), русский и советский востоковед, секретарь Петербургской Академии наук (1904 – 1929). Один из лидеров партии кадетов, член Государственного совета (1912 – 1917), министр народного просвещения Временного правительства (1917).

<sup>22</sup> Из письма Е. М. Масальской-Суриной к С. Ф. Ольденбургу от декабря 1933: СПФАРАН, ф. 208, оп. 3, ед. хр. 375, 2 л.

<sup>23</sup> Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.

танной мою рукопись, чтобы советские ученые сконфузили ученых Запада и еще раз – хоть маленький свет, но опять то был бы «lux ex oriente»<sup>24</sup>, но так как это невозможно, то я запросила проф[ессоров] Миккола и Мансикка<sup>25</sup>». <sup>26</sup> Несмотря на все старания Евгении Александровны, публикации этих работ так и не появились ни в Советском Союзе, ни в Финляндии. Остаются они неопубликованными и в современной России, хотя научную значимость эти материалы не утратили до сих пор.

Имение Глубокое, владельцами которого были не только супруги Масальские-Сурины, но и члены семьи Шахматовых, вложившие в его покупку свой капитал, а также Дмитрий, несовершеннолетний сын Виктора Адамовича от первого брака, во время войны переходило из рук в руки: у русских его отбивали немцы, у немцев – поляки, у поляков опять русские... С приходом советской власти Глубокое оказалось у поляков, так что для посещения своего имения Евгении Александровне нужна была польская виза.

Само по себе оформление такой визы было делом неслож-

---

<sup>24</sup> Свет с востока (лат.).

<sup>25</sup> Иосиф Юлиус Миккола (1866 – 1946), финский языковед, славист, профессор славянской филологии в Гельсингфорском университете. Вильо Йоханнес Мансикка (1884 – 1947), русский и финский филолог финского происхождения, диалектолог, фольклорист, действительный член Академии Финляндии. В феврале 1930 года Миккола и Мансикка были в Москве.

<sup>26</sup> Из письма Е. М. Масальской-Суриной к С. Ф. Ольденбургу от декабря 1933: СПФАРАН, ф. 208, оп. 3, ед. хр. 375, 2 л.

ным, проблема заключалась в другом: советские граждане, получившие визу и уехавшие в Польшу, не имели права вернуться назад в советскую Россию. А Евгения Александровна не могла даже представить себе жизни за границей, оторванной от родных и близких, поэтому всеми правдами и неправдами она пыталась и посетить свое имение, и вернуться назад в Россию. Это было очень непросто, но в 1919 году с большими трудностями, подвергаясь многим опасностям, ей все-таки удалось побывать и Глубоком, и вернуться в Петроград, где ее постигли новые тяжелые утраты.

Начиная с декабря 1919 года, на протяжении восьми месяцев три смерти последовали одна за одной: в середине декабря умерла тетя Ольга Николаевна, через два месяца, 11 февраля 1920 года, умерла младшая сестра Ольга, а 16 августа после сложной операции скончался любимый брат Леля. Перед смертью Алексей Александрович просил сестру ни в коем случае не оставлять его семью и помогать жене Наталье Александровне заботиться о детях.

Вскоре после смерти Алексея Александровича у его друзей и коллег возникла идея написания воспоминаний о нем, и они обратились к Евгении Александровне с предложением взяться за работу и написать книгу о старшем брате.

И как ни тяжела была утрата, в октябре 1920 года Евгения Александровна приступила к работе над воспоминаниями. В марте 1922 года, прочитав и отредактировав несколько первых глав, Б. Л. Модзалевский дал высокую оценку этому

туду: «Талантливая писательница, обладающая даром художественного и живого изложения, Е[вгения] А[лександровна] сумела сделать свое произведение высокозанимательным и ценным по существу; будучи привязана к брату самыми нежными чувствами старшей сестры, она была всегда в курсе его личных и научных интересов, всей его работы, была ближайшею свидетельницей развития его исключительных дарований, поддерживала горевший в нем с детства священный огонь, переживала с ним все его горести и радости, была очевидицею и участницею его общественной деятельности и во время разлуки поддерживала с ним оживленную переписку; в своих письмах к сестре покойный ученый откровенно высказывал ей все, что его занимало и волновало и в них, как в зеркале, отразился весь его прекрасный нравственный облик, виден весь его душевный мир, ясен ход его развития с малых лет до зрелого возраста. Составленный на основании этих и других семейных писем и бумаг, труд Е. А. Масальской-Суриной, умело использовавшей для него и свои личные, очень отчетливые и богатые воспоминания, – представляет собою явление высокой ценности и значения».<sup>27</sup>

В то время, пока Евгения Александровна работала над воспоминания о брате и каждый день боролась за выживание семьи, надвигалась опасность потери Глубокого. Для того, чтобы не потерять имение, оказавшееся на территории Польши, и чтобы спасти для детей Шахматовых хотя бы часть ка-

---

<sup>27</sup> РГАЛИ, ф. 318, д. 1, ед. хр. 399, л. 4.

питала, в него вложенного, необходимо было срочно, в связи с начавшейся в 1921 году реэвакуацией беженцев в Польшу, переоформить имение в соответствии с польскими законами на имя Евгении Александровны. Для совершения этой процедуры требовалось ее личное присутствие, но из-за ареста по наговору, подписке о невыезде и суда поехать в Глубокое она не могла.

В то время в Глубоком находился бежавший туда сын покойного Виктора Адамовича и пасынок Евгении Александровны Дмитрий. Но справиться со сложным и хлопотным делом переоформления имения молодому, неопытному, нервному, болезненному Диме без Евгении Александровны и посторонней помощи было не под силу.

Положение казалось совершенно безвыходным, и Евгения Александровна обратилась за помощью к норвежскому другу покойного брата Олафу Броку, который сразу же откликнулся на ее просьбу, без промедления связался с норвежскими официальными представителями в Польше, отправил необходимые доверенности, письма и телеграммы, задействовал польских адвокатов, и сложный вопрос о спасении имения Шахматовых в Глубоком был решен быстро и эффективно. В архиве Брока среди незарегистрированных писем я нашла три письма Евгении Александровны, из которых становится ясно, что без помощи норвежского профессора спасти Глубокое для семьи Шахматовых вряд ли было возможно.

Как следует из этих писем, спасением Глубокого помощь Брока семье покойного друга не закончилась: через норвежского профессора шла переписка Евгении Александровны с пасынком и братом мужа, оказавшимися за границей; он хранил в норвежском банке деньги, принадлежавшие детям друга, и пересылал их вместе с набравшимися процентами по первому требованию Евгении Александровны по по указанному ею адресу; оказывал всевозможную материальную поддержку семье Шахматовых через своих друзей и знакомых дипломатов, посещавших или находившихся в то время в России.

В конце сентября 1921 года Евгения Александровна писала: «Многоуважаемый, дорогой Олаф Иванович<sup>28</sup>! Я замедлила со своим ответом, пот[ому] что хотела Вам написать что-либо определенное по поводу двух самых жгучих вопросов наших: переезда на другую квартиру и намерения поехать в Гл[убокое]. Эти вопросы me tenait en suspens<sup>29</sup> все лето, но вот и октябрь на днях, а переезд из Акад[емии] все оттягивается, а поездка в Гл[убокое] все затруднительнее. Но вчера я получила второе Ваше письмо с письмом Димочки, пасынка моего. Спасибо Вам, тысячу раз спасибо! Вчера же, почти одновременно, я получила письмо из Гл[убокого] же со случайной оказией. Оба эти письма наконец выяснили мне немножко все положение дела. Пасынок с тетушкой своей

---

<sup>28</sup> Так русские друзья звали норвежца Олафа Брока.

<sup>29</sup> Держали меня в напряжении (фр.).

прибыл в Г[лубокое] 18-го июня, а за несколько дней до приезда имение уже было описано, чтобы быть сданным в казну (!)...

Посланный за мной еще с Пасхи (управляющим моим) человек не достиг до меня и чуть не погиб. Дима стал хлопотать. Полученная телегр[амма] и доверенность через Вас помогли ему; помогли ему и виленские друзья-родные, и Вы, дорогой Олаф Иванович, пот[ому] что Дима после трех лет мытарств и несчастий совсем разболелся, выдержал в августе операцию, чуть не лишился глаза, в страшном ревматизме и пр. и пр. Препятствий было много, но 14-го сент[ября] Гл[убокое] было спасено, только 14 сент[ября]! Об этом прислали мне сказать, и вчера только я могла вздохнуть свободнее. Но они продолжают настаивать на необходимости переезда, прислали денег и пропуск. Но... выехать не так легко или вернее почти невозможно легально, а нелегально я не могу и не хочу! Быть может друзья мои что-нибудь да придумают.

И вот опять пишу Димочке через Вас. Не откажите, дорогой Олаф Иванович. И пошлите прилагаемое письмо Димочке в Гл[убокое] и Шван[ебаху] в Вильну. Посылаю открытыми, чтобы Вы всегда могли их просмотреть.

В первом письме Вашем Вы опять приложили. Я буду жаловаться Нине Ивановне,<sup>30</sup> дорогой Олаф Иванович. Ведь я у Вас буду в таком долгу, что я никогда с Вами не расплачусь.

Шлю Вам от многих, многих русских друзей Ваших за па-

---

<sup>30</sup> Так звали в России жену Олафа Брока норвежку Нини.

мать Вашу о России благодарность, поклон и привет. Позвольте мне еще через некоторое время еще написать Диме насчет скорой поездки в Глубокое, а тогда у меня будет большая, большая просьба к Вам: сохранить то, что я смогу выручить от ликвидации части имения, поместив ли в банк или во что другое, сохранить для детей брата, потому что переводить сюда, значит лишить их всего. Но об этом позже, а пока надо придумать, как поехать туда! Пока крепко целую Нину Ивановну и шлю Вам от себя и семьи брата самый искренний привет».<sup>31</sup>

О том, как развивались события в Глубоком после его преоформления, а также о помощи Брока, речь идет в следующем письме Евгении Александровны, написанном через несколько дней после предыдущего: «Многоуважаемый и дорогой Олаф Иванович! Опять с просьбой к Вам: я злоупотребляю Вашей любезностью! Прилагаю письмо с просьбой его переслать пасынку моему. Но если Вас это затрудняет, если это же и стоит денег, подумайте – только благодаря Вам дети брата моего сохранили что-нибудь! Только благодаря вовремя поспевшим телегр[амме], доверенности и письму, пасынку удалось после трех месяцев хлопот – отстоять наши права на имение, которое иначе было бы конфисковано! Теперь другой грозный вопрос – необходимость

---

<sup>31</sup> NB, Brevs. 337 (незарегистр.): письмо Е. А. Масальской-Суриной к О. Броку, без даты, но исходя из содержания следующего письма, его можно датировать второй половиной сентября 1921 года.

ликвидировать часть земли, которой все же 1700 десят[ин], иначе излишек земли отберется. Кроме того, если к весне не восстановить совершенно разоренное хозяйство, имение опять будет конфисковано. Надо ехать, п[отому] ч[то] без моего личного присутствия осуществить купчую на массу мелких участков, проданных нами еще во время войны, – невозможно, а вот последнее очень мудро!

Дима, пасынок сумел даже переслать денег на дорогу, с оказией, и зовет скорее. Но я не могу даже начинать хлопотать об отъезде, пока здесь не решится вопрос – не удастся ли перезимовать еще в акад[емической] кв[артире]? Это зависит от возвращения из-за границы того академика, которому назначена эта квартира. Ждут его со дня на день, а переезд – да с наставшими холодами – это трата кошмарная! Потому же стоит не тысячи, а миллионы. Выручить эти миллионы продажей вещей тоже нелегко! Словом, все это очень и очень трудно, но необходимо, как горькое лекарство, и весь вопрос во времени, т. е. если бы можно было оттянуть переезд до весны, тогда бы я зимой могла покойнее съездить туда, хотя слово съездить теперь почти не подходящее. Можно еще уехать из Совдепии, но вернуться – нет, и в этом вся моя трагедия. Но безвыходных положений не бывает, и, м[ожет] б[ыть], найдется и этому выход, а пока прошу Вас отослать Диме мое письмо. Дойдет ли оно по этому адресу? Нине Ивановне и Вам шлем самый искренний и душевный при-

вет!»<sup>32</sup>

Положение семьи Шахматовых в 1922-1923 годах было очень тяжелое, но друзья, ученики и коллеги, старались хоть как-то поддержать близких покойного академика. Чтобы хлопотать хлебную карточку, Б. Л. Модзалевский написал отзыв о работах Евгении Александровны в пайковый комитет при Доме ученых, а Д. М. Приселков<sup>33</sup> обратился за помощью к Олафу Броку: «Милостивый государь Олаф Иванович! Беру на себя смелость, лично не зная Вас, обратиться к Вам с некоторою просьбою. Семья моего учителя и друга А. А. Шахматова продолжает бедствовать, потому что у нас нет теперь никаких пенсий, никаких обеспечений даже за заслуги столь выдающихся людей, как покойный Алексей Александрович. Помочь нам, ученикам его, – невозможно, потому что мы бедствуем сами, хотя и в меньшей степени, чем прежде. От покойного остались труды, драгоценные и обширные, но их сейчас печатать, конечно, никто не будет». Далее Приселков просит норвежского профессора организовать публикацию этих трудов за границей, чтобы семья получила за них гонорар. «Разумеется, что семья Алексея Александровича совершенно не знает ничего о моей на-

---

<sup>32</sup> NB, Brevs. 337 (незарегистр.): письмо Е. А. Масальской-Суриной к О. Броку от 10.10.1921.

<sup>33</sup> Приселков Дмитрий Михайлович (1881 – 1941), российский и советский историк, декан факультета общественных наук (ФОН) Петроградского университета (1920–1921) и исторического факультета ЛГУ (1939–1940).

стоящей просьбе».<sup>34</sup> Сведений о том, были ли организованы такие публикации, нет, но в письмах Евгении Александровны часто упоминается о том, что Олаф Брок лично помогал семье покойного друга.

Следующее письмо Евгении Александровны датировано мартом 1924 года, но о том, что в 1923 году, после возвращения Брока из России в Норвегию, его переписка с Евгенией Александровной не прекращалась, можно судить по письму П. Л. Маштакова<sup>35</sup> от 15 августа 1923 года: «Дорогой Олаф Иванович! Хочу воспользоваться случаем отправить Вам письмо через курьера И. И. Вульфсберга<sup>36</sup> (об этой возможности любезно сообщила мне Евг[ения] Алекс[андровна]). [...] Вообще [...] дела, как не стало Алекс[ея] Алекс[андровича], идут неважно. Чуть не каждый день все еще приходится вспоминать его. Сегодня же как раз соберемся на его могиле – в день кончины – три года назад, но кажется – так недавно: так свежа память у всех о нем. Впрочем это м[ожет] б[ыть] мое личное впечатление, п[тому] что я чуть не каждый день бываю у Шахматовых. Спасибо Вам за память обо мне в письме к Евг[ениии] Алекс[андровне]».<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> NB, Brevs. 337: из письма Д. М. Приселкова к О. Броку от 30.1.1923.

<sup>35</sup> Маштаков Петр Лазаревич (1872 – 1942), преподаватель русского языка, ученый корректор ОРЯС.

<sup>36</sup> Иван Иванович Вульфсберг, норвежский подданный, архангельский предприниматель, был хорошо знаком и сотрудничал с О. Броком и дипломатом-невозвращенцем К. М. Гулькевичем.

<sup>37</sup> NB, Brevs. 337 (незарегистр.): письмо П. Л. Маштакова к О. Броку от

Последнее сохранившееся письмо Евгении Александровны к Олафу Броку датировано 15 марта (1924 года<sup>38</sup>): «Дорогой Олаф Иванович! Me Gr. Henr.<sup>39</sup> с своим прелестным мальчиком занесла мне Ваше письмо от 13.2. Хоть и медленно, но почта доходит таким образом верно, и я пользуюсь ее разрешением послать Вам ответ. Ив[ан] Ив[анович] только еще не передал мне письма, пришедшего в его отсутствие, но я выберу время его реквизировать. А пока я скажу Вам, что Рих[ард] Петр[ович] Вам, вероятно, уже передал, что мы согласовали наши счета... И я надеюсь, что из «Profond»<sup>40</sup>, как мы зовем условно Глуб[окое], Вам вышлют скоро денег. Заминка произошла из-за громадной пошрины за ввод в наследство<sup>41</sup>, т. е. долю покойной сестры... Теперь

---

15.8.1923.

<sup>38</sup> Год не указан, но он определяется по событиям, о которых идет речь в письме.

<sup>39</sup> Личность не установлена, вероятно кто-то из жён скандинавских дипломатов в Петрограде.

<sup>40</sup> Глубокий (фр.).

<sup>41</sup> По этому поводу 6 января 1924 года Олафу Броку писал из Либавы (Латвия) родной брат покойного мужа Евгении Александровны Дмитрий Адамович Масальский-Сурин: «Глубокоуважаемый Олаф Иванович! Ваше письмо от 14/XII [1]923 получил; благодарю Вас за Вашу готовность исполнить просьбу нашего общего друга Ф. Ф. Шванебаха, которому я уже и сообщил о тех формальностях, кои необходимы о помещении его денег у Вас. При этом прилагаю письмо для Евгении Александровны, которое прошу Вас ей переслать. В середине января еду в Польшу, в имение Глубокое. В настоящее время нами уплачена наследственная пошлина и таким образом Евгения Александровна утверждена в праве наследства, с чем ее можно поздравить, т. к. это стоило нам громадных усилий и хлопот. Очередная моя задача провести в жизнь тот документ, который Вы нам по-

мой beau frère<sup>42</sup> поехал в Варшаву хлопотать о разрешении продажи полевой земли и тогда, получив парцеляц[ионный] план, преступить к ликвидации.

На днях из Либавы вернулась сестра моего мужа и привезла мне самые утешительные известия о моем пасынке и его деятельности, характере и пр[очем]. Только здоровье его не вполне восстановилось после перенесенных «пыт[ок]!» на юге... Ему очень хочется, несмотря на свои 23 года, жениться и, вспоминая желание его отца, хотел бы иметь женой Катю, нашу третью дочку А[лексея] А[лександровича]. Но Катя пока слышать не хочет о замужестве, хочет доучиться, т. е. кончить университет, что возьмет у нее еще три года. К сожалению, решено, кажется, закрыть ее факультет... И Держ[авин]<sup>43</sup> поехал на днях в Москву хлопотать о том, чтобы как-нибудь сохранить гуманит[арные] науки. Уже из одного этого Вы можете видеть подтверждение дошедших до Вас слухов о блестящем положении граммат[ики] и филологии.

Что же касается Ол[денбурга], то, к сожалению, Ваш кол-

---

слали в ноябре минувшего года, т. к. польские власти не примиряются с фактом владения земельным имуществом подданными советской России. Если будет от Евгении Александровны корреспонденция на мое имя, не откажите ее переслать на мой латвийский адрес, т. е. сюда, в Либаву. Это путь более надежный и более скорый. Искренне Вас уважающий Дмитрий Адамович Масальский-Сурин».

<sup>42</sup> Шурин (фр.).

<sup>43</sup> Державин Николай Севастьянович (1877 – 1953), филолог-славист, литературовед, историк, в 1922-1925 годах был ректором Петроградского университета.

лега совершенно прав! Ол[денбург] огорчает всех друзей своих... Многие стали его избегать! Уже весной, но тогда Вы были у нас<sup>44</sup>, разве Вы не обратили внимание на его направление?... Ученые, действительно, за эти два последние года, выдохнули, поправились... Но не он ли принял меры к тому, чтобы прекратить пайки, арн [далее слово не читается]. Что им руководит, никто не понимает. *Esprit de contradiction*<sup>45</sup> его всегда отличало, но всему же бывает мера! Прибавлю еще, что женитьба его оказывает на него плохое влияние.<sup>46</sup> Мы все так ценили в нем то, что он окружил себя семьей... На них он работал – невестка с двумя прелестными девочками,

---

<sup>44</sup> Речь идет о поездке Олафа Брока весной-начале лета 1923 года в Москву и Петроград, где он собрал материал для книги «Диктатура пролетариата», изданной на норвежском языке в Кристиании (Осло) осенью того же года; впервые эта книга была переведена на русский язык в 2018 г. и вышла в Из-ве им. Сабашниковых.

<sup>45</sup> Дух противоречия (фр.).

<sup>46</sup> В феврале 1923 года после 32 лет вдовства С. Ф. Ольденбург женился вторым браком на Елене Григорьевне Головачевой, урожденной Клеменц (1875 – 1955). Елена Григорьевна была дочерью юриста, мирового судьи из Самарской губернии, и племянницей известного народовольца Д. А. Клеменца, который во время сибирской ссылки стал этнографом и археологом и по возвращении в Петербург работал в Музее антропологии и этнографии, а затем организовывал этнографический отдел Русского музея. Елена Григорьевна училась на Бестужевских курсах и познакомилась с С. Ф. Ольденбургом в 1898 г. в доме своего дяди. Позднее она вышла замуж за политического ссыльного статистика Д. М. Головачева и много лет работала учительницей в Сибири. В конце 1922 года, она приехала в Петроград, и вскоре был оформлен ее брак с С. Ф. Ольденбургом. Елена Григорьевна была энергичной и практичной женщиной, и некоторые родственники и друзья Ольденбурга имели к ней претензии.

ее две сестры (одна умерла, другая вышла замуж), одинокий племянник, одинокая глухая старушка-тетушка... И вот с осени этого года все это выселено (!)... Взамен их приехали из Читы сын его второй супруги, его жена, ее племянница и поселились у него... Бог ему судья! Но участь, на редкость прелестных, внучек его особенно всех огорчает... Были случаи такого «унижения» интел[лигенции], что люди с возмущением отходят от него. Завтра, когда дух Ваш будет с нами на первом вечере в память А[лексея] А[лександровича], мы не позовем его.<sup>47</sup>

Прилагаю опять почту! Простите за хлопоты и труд. За пересылку же я надеюсь мои скоро возместят Вам... А теперь вся семья шлет Вам и Нине Ивановне самый искренний привет. Не забудьте к свадьбе второй дочки непременно сделайте подарок от нас... Потому что наша вторая, хотя и старшая, как у Вас, может выйти замуж только благодаря Вашей заботе о доставке пересылаемых сумм... Иначе как могла бы она решить даже просто сшить себе хоть немножко

---

<sup>47</sup> Однако из письма Евгении Александровны С. Ф. Ольденбургу следует, что на этом вечере памяти он присутствовал: «Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Федорович! Не могу не выразить Вам признательности за те горячие слова, которыми Вы вспомнили вчера моего брата! Чем дальше мы уходим от его кончины, тем дороже, ценнее, трогательнее каждое слово воспоминания о нем, как доказательство, что настоящие друзья его не забыли... Поэтому у меня и вырывается это – спасибо Вам! Ваша Е. Масальская». P.S. Олаф Ив[анович] Брок просил Вам передать, что он выбран генер[альным] секретарем Христ[ианской] Ак[адемии] Наук». Генеральным секретарем Норвежской Академии наук Олаф Брок был избран в 1924 году.

белья? Теперь долл[ар] стоит гораздо дешевле. Вся свадьба и все приданное Сони стоило 150 долларов. Эта парочка тоже безумно счастлива и любят друг друга «все больше», если это возможно. Триста дол[аров] им отложено в капитал, и пока мне удавалось им выдавать с него %, что служит им большой поддержкой. Хотелось бы тоже устроить для Олечки, но свадьба и приданное ее будут дороже – из-за падения долл[ара], во-первых, (после наступившей денежн[ой] реформы), во-вторых, для Сони мы могли еще кое-что найти в своих сундуках да и свадьба второй, и сами «женихи» – все это как-то серьезнее и важнее... А вот что печально, что о[тец] Владим[ир], который венчал Сою, успел только в Сочельник благословить вторую пару... Он в числе заключенных 55 священников.<sup>48</sup> И если не сошел с ума в тюрьме, то во всяком случае в таком нервном расстройстве, что на днях его перевезли в тюремную больницу. Мы все ужасно этим огорчены... Исход же ожидаем – ссылка или вечное заключение. За что?!.. О, ставлю точки, точки...

17-ое Вчера был наш первый вечер. Сонечка прочла по-смертное почти письмо отца, написанное уже перед самой операцией о смысле жизни... Очень длинное и обстоятельное. Друзья взяли его переписывать. Затем я прочла несколько глав из детства брата и в десять ч[асов] пили чай. Все были, по-видимому, очень довольны...»

---

<sup>48</sup> Видимо, оказался в числе арестованных по делу «Спасского братства» в начале февраля 1924 года.

Несмотря на утверждения Евгении Александровны в «Исповеди» В. Д. Бонч-Бруевичу, что после выхода «Диктатуры пролетариата» (1923) отношения с Олафом Броком после тридцатилетней дружбы были прерваны навсегда, сохранившиеся архивные документы свидетельствуют о том, что эти отношения не прерывались.

Посетить Глубокое Евгении Александровне удалось только в августе 1925 года, тогда она отправила Броку две телеграммы, в которых нет даже намек на прерванные отношения, так же, как нет подобных намеков в приведенном выше письме от 15.3.1924. Как в приведенных выше письмах Евгении Александровны к Броку, так и в телеграммах излагались распоряжения о деньгах: 19 августа она попросила немедленно перевести брату покойного мужа, Дмитрию Адамовичу, 400 долларов, а через несколько дней, 25 августа, увидев истинное положение дел в Глубоком, послала Броку телеграмму о том, чтобы запрошенных денег он не посылал ни в коем случае.

Последний раз в Глубоком Евгения Александровна была с июля 1926 до конца января 1927 года. Эта поездка тоже была вызвана улаживанием дел, связанных с имением, но теперь уже Евгении Александровне пришлось сражаться не с польскими властями, а с пасынком, который объявил себя единовластным хозяином имения. Отношения с Димой были настолько невыносимыми, что Евгения Александровна была вынуждена покинуть Глубокое и остановиться у приютив-

ших ее приятелей Чеховичей в Свенцинском уезде.

Через год, в июле 1928 года, пасынок утонул, а Евгению Александровну начали подозревать в его отравлении. Все закончилось тем, что польские власти дали разрешение на проведение эксгумации трупа, в результате чего было установлено, что смерть Дмитрия Викторовича Масальского-Сурина была вызвана параличом сердца, кода он, находясь под воздействием алкоголя, бросился в воду. Однако и после этого медицинского заключения слухи об отравлении «мачехой с востока» не прекращались. Отношения с родственниками покойного мужа, претендовавшими после смерти племянника на безраздельное владение имением, были крайне напряжены, и отстаивать долю, принадлежащую семье Шахматовых, приходилось с большим трудом в непрекращающихся скандалах.

Вернувшись после полугодового отсутствия в ленинградскую квартиру покойного брата, Евгения Александровна почувствовала неприятные перемены, которые выражались в недружелюбии, высокомерии и даже враждебности со стороны Натальи Александровны. Стараясь не обращать внимания на перемены в отношениях невестки, Евгения Александровна сосредоточилась на записях всего, что помнила о жизни покойного брата и продолжила работу над воспоминаниями о нем.

Из членов семьи Шахматовых идею написания воспоминаний горячо поддержала дочь академика Соня. Евге-

ния Александровна работала над воспоминаниями довольно долго и никак не решалась признать свой труд завершенным. Видя такую нерешительность, Соня сама, без ведома Евгении Александровны, списалась с М. В. Сабашниковым и договорилась об издании воспоминаний об отце.

Несмотря на тяжелое экономическое положение издательства, в начале 1929 года первая часть, из запланированных трех<sup>49</sup>, «Повесть о брате моем» была издана и сразу же получили высокую оценку специалистов. Так, например, уже в марте в докладе большого знатока книги и книжного дела И. А. Кубасова, прочитанном в Пушкинском Доме, отмечалось: «При всем желании отвести повести Е[вгении] А[лександровны] место в нашей мемуарной литературе, заставляет пока воздержаться от этого. Но если судить только по первому выпуску, то можно утверждать, что это прежде всего художественная Повесть, художественное произведение, которое по его достоинствам, по мастерству автора, можно поставить в ряд с первоклассными произведениями подобного рода. [...] Это – большая, играющая живыми красками мозаичная картина, составленная из натуральных, подлинных семейных и бытовых мелочей, порою в отдельности едва заметных. Но все эти самоцветные мелочи так искусно подо-

---

<sup>49</sup> При этом самая первая часть «При родителях» в издание включена не была, очевидно по цензурным соображениям. Опубликована была часть, вошедшая в издание 2012 г. под названием «Легендарный мальчик», в которой повествование начинается с 1871 г. В предисловии М. А. Цявловского к выпуску 1929 года дается лишь краткое изложение предыдущих глав.

браны, что в общем сливаются в красивую гармонию, в сущности, разрозненных клочков давно пронесшегося растаявшего во времени былого, но властью художника превращенное в стройное, красивое и – что важнее всего – теплеющее жизнью. И вот поскольку в нем теплится эта былая жизнь, чувствуется биение пульса, которое явственно ощущается в бесчисленно приведенных документах в виде подлинных писем, поскольку она эта Повесть и летопись-хроника, она – сама документ, надежный материал для биографии Алексея Александровича, весьма ценный для понимания тайны гениальных личностей надежными воспоминаниями, о которых мы вообще не богаты, даже бедны».<sup>50</sup>

Но вдова брата, Наталья Александровна, на этот счет имела совсем другое мнение: она считала, что поскольку Евгения Александровна не принадлежит к профессиональному кругу покойного академика, то она не должна писать воспоминания о нем и тем более не должна писать о его личной жизни, его жене. После выхода первой части воспоминаний обстановка в доме стала совершенно невыносимой, поэтому под предлогом устроить место для летнего отдыха для племянниц в конце сентября 1929 года Евгения Александровна уехала в Гудауту к своей подруге Элле Куцвинской, с которой в юности работала в Бессарабии. Евгения Александровна рассчитывала остаться на Кавказе если и не навсегда, то очень надолго, но через пару недель вернулась в Ленинград,

---

<sup>50</sup> РГАЛИ, ф. 318, оп. 1, ед. хр. 398, л. 4.

получив письмо от Сони, умолявшей срочно приехать, поскольку ее муж, отпущенный из-под ареста, снова был арестован.

Вскоре после возвращения в Ленинград Евгения Александровна была арестована. Поводом для ареста послужило письмо Олафа Брока к ней, написанное осенью 1923 года и найденное при обыске в бумагах арестованного профессора В. Н. Бенешевича<sup>51</sup>. Письмо вызвало подозрение, что Евгения Александровна воодушевила норвежского профессора к написанию «Диктатуры пролетариата». Но это были только подозрения, а доказательств никаких не было и быть не могло, потому что Олаф Брок был очень осторожным в переписке с коллегами из советской России. Так, например, не встретившись летом 1930 года в Ленинграде с П. Н. Сакулиным, поскольку тот уже уехал в Москву, Брок писал ему: «Не знаю, вернусь ли я еще в Россию, где был теперь в третий раз по архивным делам. Я очень хотел бы поговорить с Вами

---

<sup>51</sup> Бенешевич Владимир Николаевич (1874 – 1938), специалист в области церковного права, историк, византист, палеограф, член-корреспондент РАН (1924); в 1925-1928 гг. был главным библиотекарем и хранителем греческих рукописей в Публичной библиотеке в Ленинграде. В 1928 был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ватикана, Германии и Польши, осужден на три года и отправлен в Соловецкий лагерь. В 1930 был арестован в лагере, возвращен в Ленинград и привлечен к «Академическому делу». Видимо, тогда у него и было найдено письмо О. Брока к Евгении Александровне. В 1931 В. Н. Бенешевич был приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен в Ухта-Печерский лагерь; в 1933 году был досрочно освобожден по ходатайству В. Д. Бонч-Бруевича; 27.11.1937 снова арестован, обвинен в шпионаже, расстрелян 17.1.1938 по приговору особой ройки НКВД.

об иных вопросах, о которых не так удобно писать. Между прочим, о судьбе иных существ, которая мучит как не соответствующая понятию цивилизованного государства». <sup>52</sup> Не трудно догадаться, о ком Брок хотел говорить с коллегой: прибыв в Россию для изучения архивных материалов, Брок узнал об арестах его знакомых, коллег и друзей: В. Н. Бенешевича, М. Д. Приселкова, С. Ф. Ольденбурга и др. В письме П. Н. Сакулину фамилий «иных существ» Брок не называет, как не называл он их в «Диктатуре пролетариата», поскольку понимал, насколько это опасно для людей, оказавшихся в «советском раю».

В «Исповеди» Бонч-Бруевичу Евгения Александровна пишет: «Совесьть же у меня была покойна, потому что даю Вам слово, что в сообщеньях норвежской брошюры я несколько не была виновата, ни единым словом не дала Олафу Ивановичу повода вывести неподобающие и ложные выводы». Но если бы в руки ОГПУ вместо письма Олафа Брока к Евгении Александровне попало хотя бы одно из ее писем к норвежцу, приведенных выше, ее дело приняло бы совсем другой оборот и не закончилось бы несколькими месяцами в ДПЗ.

Отречение Евгении Александровны от Брока ни в коем случае нельзя принимать «за чистую монету» и тем более упрекать ее в «неискренности», поскольку для того, чтобы

---

<sup>52</sup> РГАЛИ, ф. 444, оп. 1, ед. хр. 150, л. 7: письмо О. Брока к П. Н. Сакулину от 18.6.1930.

выжить самой и спасти семью брата необходимо было жертвовать многим, в том числе и своими жизненными принципами.

Как следует из «Исповеди», в 1930 году все зарубежные друзья, в том числе и по инициативе самой Евгении Александровны, прекратили с ней переписку. В архиве Шахматовых в СПФАРАН и РГАЛИ не сохранилось ни одного письма Олафа Брока к Евгении Александровне, хотя в СПФАРАН хранятся его письма к Алексею Александровичу, умершему в 1920 году, т. е. задолго до массовых репрессий славистов. По той же причине, видимо, сохранились его письма к А. А. Кунику, В. И. Ламанскому, Ф. Ф. Фортунатову и др. Не сохранились письма Брока в архивах ряда известных ученых, с которыми он состоял в переписке после выхода его книги в 1923 году (А. М. Селищев, К. Я. Грот, В. Ф. Шишмарев, И. П. Павлов и др.). О том, что переписка была, свидетельствуют письма этих ученых в архиве Брока. Правдоподобно, что письма Брока уничтожались и как нежелательное свидетельство о связи с автором скандального «памфлета», и как улики в связи с иностранцем.

В то время, пока Евгения Александровна находилась под арестом в ДПЗ, Наталья Александровна не только хлопотала о ее освобождении через Е. П. Пешкову<sup>53</sup>, но и уничтожила дневники и другие наиболее ценные бумаги Евгении Алек-

---

<sup>53</sup> Пешкова Екатерина Павловна (урожд. Вожина, 1876 – 1965), первая жена А. М. Горького.

сандрованы, объясняя свои действия опасением обыска, которого, впрочем, так и не было. Евгения Александровна перенесла такое обращение со своими бумагами очень тяжело и считала, что невестка не столько боялась обыска, сколько хотела всеми способами помешать завершить воспоминания о брате. Обстановка в доме стала совершенно невыносимой, и Евгения Александровна в очередной раз оказалась перед сложным выбором: нарушить обещание, данное покойному брату, оставить его семью и закончить воспоминания, или продолжать страдать, отказавшись от мысли завершить работу. В таких размышлениях прошел почти год. Единственным выходом из сложившейся ситуации было получение места в Доме для престарелых ученых. Первого марта 1932 года Евгения Александровна отправила свою «Исповедь» Бонч-Бруевичу.

Обращение именно к Бонч-Бруевичу объяснялось тем, что еще до революции академик Шахматов оказывал помощь будущему управляющему делами Совнаркома не только в собственно научных вопросах, но и хранил вместе с И. И. Срезневским документы и нелегальную литературу, переданные в архив Академии при посредничестве Бонч-Бруевича. Поэтому, как следует из «Исповеди», Алексей Александрович за несколько дней до смерти сказал сестре, что при необходимости за помощью она должна обращаться к этому человеку.

В. Д. Бонч-Бруевич, известный партийный и государ-

ственный деятель, будучи директором Государственного Литературного музея, в 1930-е годы занимался комплектованием коллекций этого музея: «Подавляющее большинство приобретенных им в это время ценнейших рукописей погибло бы в предвоенные и военные годы, если бы владельцы этих рукописей не решились передать их в государственный музей, нередко уступив лишь страстной настойчивости директора»<sup>54</sup>, он «решал вопросы не только комплектования, но и материальной помощи малоимущим писателям и поэтам».<sup>55</sup> Есть и другие мнения по поводу этой деятельности Бонч-Бруевича, но кроме спасенных материальных ценностей, более ценным было спасение и возвращение к жизни людей, оказавшихся в тяжелом положении «бывших»: «Совершенно невольно и бессознательно всё-таки Вы зажигаете огонь в потухшей жизни, то есть даёте смысл и цель».<sup>56</sup>

Благодаря Бонч-Бруевичу, в июне 1932 году Евгения Александровна получила комнату в Доме престарелых ученых на Халтурина<sup>57</sup> и сразу же включилась в работу по сбору

---

<sup>54</sup> Чудакова М. О. Рукопись и книга: Рассказ об архивоведении, текстологии, хранилищах рукописей писателей: Книга для учителя. М., Просвещение, 1986, с. 163.

<sup>55</sup> Горяева Т. М. Одна из оригинальнейших и замечательных реализаций, осуществленная в СССР (к 70-летию РГАЛИ). Отечественные архивы. 2011. № 2, с. 27.

<sup>56</sup> Из письма Е. А. Масальской к В. Д. Бонч-Бруевичу: НИОР РГБ, ф. 369, картон 299, ед. хр. 43, 1933 год, л. 3.

<sup>57</sup> В 1991 г. улице было возвращено прежнее название Миллионная.

материалов для ГЛМ. В первую очередь, она передала в ГЛМ хранившиеся у нее бумаги семьи Шахматовых, ее мужа Масальского-Сурина, свои уцелевшие от уничтожения невесткой дневники, объемную переписку, рукописи научных работ по скандинавским сагам, перевод с французского дневников А. А. Толстой, а также рукописи своих литературных произведений. Сейчас эти документы хранятся в РГАЛИ и СПФАРАН.

Благодаря стараниям Евгении Александровны в ГЛМ было передано и сохранилось до наших дней множество ценных документов, рукописей, предметов искусства, которые без ее активной деятельности бесследно бы исчезли: переписка Лескова, Кони, и др.

Но, как следует из заявления в КСУ<sup>58</sup>, главным аргументом для назначения Масальской государственного обеспечения и выделения комнаты в Доме престарелых ученых была необходимость создания условий для завершения работы над воспоминаниями: «Повесть доведена до 1894 г., т. е. до выбора А. А. Шахматова академиком. Осталось, т[аким] о[бразом], воспроизвести наиболее важную и интересную для ученого мира полосу его жизни, для чего в руках Е[вгении] А[лександровны] имеется ценнейший материал. Однако, как раз в настоящее время, для продолжения этой рабо-

---

<sup>58</sup> Комиссия содействия ученым: СЗ СССР 1931 г. № 26, ст. 212: Об образовании при Совете народных комиссаров Союза ССР Комиссии содействия ученым. Опубликовано в № 122 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 5 мая 1931 г.

ты, требующей особого внимания и напряжения, она, в силу неблагоприятно сложившихся материальных условий жизни в семье вдовы покойного брата, лишилась минимальных удобств, и этот начатый труд, равно как и другие без содействия КСУ могут остаться незаконченными».<sup>59</sup>

Однако работа над воспоминаниями шла, видимо, не так быстро, как ожидалось. Какое-то время в работе Евгении Александровне помогал досрочно освобожденный по ходатайству Бонч-Бруевича В. Н. Бенешевич: «С В[ладимиром] Н[иколаевичем] мы пересмотрели весь собранный материал о брате. Он был страшно счастлив получить Ваше письмо, в котором Вы мельком упоминаете о его жене, и вообще оживает, приступил к работе, хотя паспорта еще не получил, но ему на словах всё-таки обещали, и все очень к нему приветливо относятся, что его крайне трогает».<sup>60</sup>

Как следует из переписки, от работы над воспоминаниями Евгению Александровну отвлекали проблемы с публикацией её работы об Ингегерде, увлеченность сбором материалов для ГЛМ, забота о семье покойного брата, друзей и знакомых: «А пока я пытаюсь наладить работу о брате, что пока мне плохо удается из-за бедности материала. В[ладимир] Н[иколаевич] очень уговаривает и подгоняет меня, я – несомненно – и повезу свой воз, но как неважная лошадь, с

---

<sup>59</sup> РГАЛИ, ф. 318, оп. 1, ед. хр. 399, л. 5.

<sup>60</sup> Из письма Е. А. Масальской к В. Д. Бонч-Бруевичу от 27.5.1933: НИОР РГБ, ф. 369, картон 299, ед. хр. 43, 1933 год, л. 20 об.-21.

помощью кнута, “без божества, без вдохновенья”». <sup>61</sup>

Отсутствие «божества и вдохновенья» было вполне закономерным. Несмотря на оптимистический тон писем к Бонч-Бруевичу и постоянное высказывание благодарности советскому правительству за выделенный угол и кусок хлеба, действительность была удручающей: за волной арестов по «академическому делу» последовали аресты по «делу славистов»; близкий друг, помощник и единомышленник В. Н. Бенешевич, освобожденный в 1933 году, в ноябре 1937 года был снова арестован по обвинению в шпионаже и в январе 1938 года расстрелян по приговору особой тройки НКВД. И в этой обстановке, пусть и «без божества, без вдохновенья», Евгения Александровна не прекращала работу над воспоминаниями: она переработала и дополнила текст, подготовленный к изданию в 1929 году, и довела повествование до конца 1919 года.

Надо было обладать сильной волей и мужеством, чтобы продолжать писать, когда шли повальные аресты и когда на издание книги не было ни малейшей надежды. В своих воспоминаниях М. В. Сабашников писал: «Мы выпускали в «Записях Прошлого» воспоминания Масальской о Шахматове. I часть благополучно выпустили, а II и III части были в рукописи разрешены и уже в набранном и сверстанном виде находились в корректуре, когда наш сотрудник, посе-

---

<sup>61</sup> Из письма Е. А. Масальской к В. Д. Бонч-Бруевичу от 23.6.1933: НИОР РГБ, ф. 369, картон 299, ед. хр. 43, 1933 год, л. 22 об.-23.

щавший типографию, сообщил мне, что среди наборщиков он слышал неодобрительные разговоры о книге Масальской. Вскоре затем меня вызвали в Главлит, где мне было объявлено, что Главлит берет назад свое разрешение и запрещает обе части. Как выяснилось, наборщиков соблазнило описание молебна о дожде в голодный 1891 год, и они написали Главлиту письмо с осуждением книги. После такого случая никакие доводы не могли спасти книгу».

Подвергнуть такой же судьбе продолжение воспоминаний о брате для старшей сестры было недопустимо. Поэтому, оставаясь верной своему принципу «прямо – твердо – смело», продолжая переписываться с Бонч-Бруевичем и информировать его о своей работе над воспоминаниями, Евгения Александровна на самом деле создала две версии воспоминаний: воспоминания с 1908 по 1914 год, о чем свидетельствует машинописный, явно не первый, экземпляр плохого качества, хранящийся сейчас в РГАЛИ<sup>62</sup>, и семейную хронику, состоящую из очерков, в которой воспоминания начинаются тоже с 1908 года, но доведены до декабря 1919 года.

Если в изданных воспоминаниях, заканчивающихся 1894 годом, события развиваются в одной семье, где на первый план выступает опека и забота старшей сестры над младшим братом, то в хронике, охватывающей 1908-1919 годы, роли меняются, и старшая сестра во всех сложных ситуациях обращается за поддержкой и помощью к младшему брату. Если

---

<sup>62</sup> РГАЛИ, ф. 318, оп. 1, ед. хр. 8 7, 491 л.

в воспоминаниях старшая сестра невольно как бы заслоняла собой главного героя, то в хронике, вольно или невольно, ясно показано, что, повзрослев и обзаведясь собственными семьями, они остаются членами большой семьи Шахматовых. И это касается всего: и спасения безнадежного положения влюбленных Евгении Александровны и Виктора Адамовича, когда Алексей Александрович, оставив свою жену на руках с новорожденной дочерью, помчался в Вену устраивать свадьбу сестры, потому что без его помощи и связей это вряд ли было бы возможно; и решения сложных экономических проблем не только советом, но и вкладом собственного капитала; и моральной поддержки брата в сложных лабиринтах академических интриг, и жертвование собственным благополучием ради поддержки семьи брата после его смерти.

С одной стороны, в центре «Истории с географией» находится семья Масальских-Суриных, и события, складывающиеся в истории, развиваются вслед за географией поисков, покупок и продаж имения, но с другой стороны, в каждой главе присутствует Алексей Александрович, его дела, мысли, заботы, настроение, научные идеи. В «Истории с географией» не пропущено и не обойдено вниманием ни одно сколько-нибудь значимое событие ни в его академической жизни, ни в жизни его семьи.

В повествовании постоянно переплетается всё, чем жила большая семья Шахматовых: семейные хлопоты, здоровье детей, душевное состояние, академические дела: «Теперь мы

могли радостно ожидать приезда Лели к нам на Рождество. Сонечка выздоровела, и сам он с радостью думал о предстоящем свидании. Его последние письма дышали столь редким у него спокойствием. Ему был приятен приезд Корша. Другого московского профессора В. Ф. Миллера тоже выбрали академиком, и это очень радовало его».

Выдержки из писем Алексея Александровича к сестре передают его переживания в дни, наполненные тревогой и в семье, и в академии, и свидетельствуют о том, насколько важно для него было общение с близкими особенно в трудную минуту: «Третьего мая, сегодня, мы провожаем Тетю и детей. Не оставляй меня теперь своими письмами, так как то, что ты пишешь Тете до меня уже не дойдёт! Седьмого мая у нас совещание славянских академий. Начался приезд делегатов, ждём также Ягича. Надеюсь, что все пройдёт мирно, и Соболевский, которому я охотно предоставил главную роль, не поссорится с приезжими академиками».

Тяжелое время одинокая овдовевшая сестра и брат переживают вместе в Петрограде, отправив остальных членов семьи в менее опасное место. Жизнь семьи Шахматовых, как и многих других, постепенно превращалась в выживание: «Зима была тяжелая и грустная. Мы провели ее в академии вдвоем с братом. Я пропущу и перелистну эту страницу. Пройдя через невероятные трудности, нам удалось добраться до Актарска на Рождество к нашим дорогим родственникам. Но что за печальные новости и какое отчаяние? К середине ян-

варя 1918 года мы вернулись в академию и опять остались вдвоем настороже в ожидании немцев».

Над семейной хроникой Евгения Александровна работала очень усердно, и именно для нее она использовала первый экземпляр от машинописной рукописи, хранящейся в РГАЛИ. Для того, чтобы воспоминания о брате, переработанные в семейную хронику, не постигла участь Ингегерды, Евгения Александровна нашла способ, минуя официальные советские каналы, переправить эту рукопись в единственно надежное место, в Норвегию, единственному другу покойного брата норвежскому профессору Олафу Броку.

Из скупой архивной записи следует, что Евгения Александровна скончалась в 1940 году<sup>63</sup>, место ее захоронения неизвестно. Но сейчас нам известно, что рукопись, отправленная ею в Норвегию, сохранились в Норвежской национальной библиотеке, в архиве профессора Брока среди неописанного материала. Эту рукопись я нашла в августе 2016 года, а через два месяца в Москве нашла автограф Евгении Александровны<sup>64</sup>, который служит своего рода эпилогом к рукописи, найденной в Осло.

Рукопись Е. А. Масальской-Суриной хранится в Норвежской национальной библиотеке в Осло, в архиве профессора Олафа Брока среди необработанных материалов, Olaf Broch,

---

<sup>63</sup> ГАРФ, ф. Р-8409. оп. 1, д. 639, с. 123–124.

<sup>64</sup> РГАЛИ, ф. 318, д. 1, ед. хр. 399, л. 347-393.

Brevs. 337, Ubeh., в архивных папках VI и VII.

В папке VI, в свернутом картоне в виде самодельной папки, находится три части рукописи, четвертая часть, написанная по-французски, находится в конверте, вложенном в папку VII. Вся рукопись напечатана на машинке. Главы сшиты в отдельные тетради, первые одиннадцать тетрадней по корешку проклеены черной лентой.

На конверте, в котором находится четвертая часть, имеется надпись по-норвежски: «Брок. Проф[ессор] Станг думает, что это художественная литература. Предлагает спросить Хьетсо». Правдоподобно, что конверт был подписан при передаче материалов в архив, не позднее июня 1977 года. Упоминаемые Станг (Christian Schweigaard Stang, 1900 – 1977) и Хьетсо (Geir Kjetsaa, 1937 – 2007) – это профессора литературы Университета Осло.

Нумерация глав в этой части не продолжается после предыдущей, а начинается заново. Названия глав иногда напечатаны, иногда написаны карандашом или ручкой или отсутствуют.

В этом конверте, кроме скрепленных вместе 123-х листов формата А4 с текстом четвертой части, вложено три тетрадных листа: один двойной, вынутый из середины тетради, и два одинарных. На одном листе рукой Евгении Александровны написано: «История с географией в 6-ти очерках». Ниже строки заклеены полоской белой бумаги, но на просвет видны три строки: начало первой строки не читается, но читает-

ся два слова в конце: «земского начальника», далее, дважды под цифрой два, написано: «2. Общественные работы в Губаревке в 1898-1899; 2. Общественные работы в Бессарабии 1899-1900». Далее, ниже, в столбик, перечислены и пронумерованы очерки: «3. Минск; 4. Щавры; 5. Сарны; 6. Глубокое». На двух других листах под заголовком «Содержание» перечислены главы первых трех очерков, причем нумерация начинается с третьего очерка, т. е. первый очерк «Минск» идет под номером три. Четвертый очерк, «Глубокое», указан только в оглавлении, перечня глав, т. е. содержания, в отличие от первых трех, на вложенных листах, нет.

Как уже было сказано выше, для создания этой рукописи был использован первый машинописный экземпляр, но в него были внесены значительные изменения: главы перенумеровывались, листы менялись местами, названия глав изменялись, о чем свидетельствуют многочисленные наклейки, зачеркивания, изменение нумерации и т. д. Исправления в текст вносились карандашом и чернилами.

Нет сомнения в том, что четвертая часть готовилась для отдельной публикации, она написана по-французски и никак не была «адаптирована» к предыдущим трем частям, но поскольку эта часть указана автором в оглавлении, то она включена в настоящую публикацию. Изучение этой рукописи позволят предположить, что сначала была предпринята попытка продолжить воспоминания по той же схеме, что использовалась раньше, но материала, видимо, было недостаточно, по-

тому что осенью 1894 года Алексей Александрович уже переехал в Петербург, встречи были нечастыми, а письма этого периода, видимо не сохранились, потому что большая часть переписки погибла во время погрома в имении в Гурбаевке. То, что возможно было написать об этом периоде, не опираясь на письма, – это воспоминания о времени, проведенном самой Евгенией Александровной в Губаревке и о ее работе в Бессарабии. Больше материала, видимо, сохранилось за 1908-1914 годы, на основании которого и были написаны воспоминания о брате, охватывающие этот период.

Но если в воспоминаниях о детских и юношеских годах брата первый план часто занимала сестра, то в воспоминаниях о взрослой жизни брата повествование часто переключалось на события в семье сестры. Поэтому, видимо, и было решено воспоминания о брате заменить семейной хроникой в очерках. Когда именно такое решение было принято, сказать трудно, но до какого-то времени работа велась тщательно и последовательно, а потом в какой-то момент, вдруг работа прервалась, все, что было под рукой, включая черновик с перечнем глав, небрежно написанных карандашом на клочке бумаги, было собрано вместе и отправлено в Норвегию: без предисловия, с заклеенным названием первых очерков, с нарушенной из-за этого нумерацией частей в оглавлении и четвертой частью на французском языке, вместо русского. В таком виде рукопись была спасена, сохранилась в архиве в Осло и сейчас позволяет восполнить существенный пробел

не только в биографии ярчайшего представителя российской науки, но и его академического окружения, друзей, членов семьи, его родных и близких.

В предлагаемом издании текст публикуется с сохранением авторского стиля и пунктуации. Опечатки, описки, орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки исправлены; используемое автором написание месяцев, должностей, чинов, званий, учреждений с прописной буквы исправлено на строчную; спорадически встречающиеся в тексте устаревшие грамматические формы и буквы заменены на современные. Все даты, если нет специальных оговорок, приводятся по старому стилю. В подстрочных примечаниях помещены авторские примечания, пояснения к тексту, а также перевод иностранных слов, библиографические отсылки, комментарии редактора и составителя. Указатель имен и примечания по содержанию вынесены в конец книги.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить за помощь в подготовке настоящего издания сотрудников специального читального зала Норвежской национальной библиотеки и, в первую очередь, Нину Корбу (Nina Korbu); сотрудников читального зала РГАЛИ за оказанную помощь; ведущего научного сотрудника НИОР РГБ Татьяну Владимировну Анисимову благодарю за ряд консультаций и сверку фрагментов текста с оригиналом; за помощь в практических вопросах благодарю норвежских коллег Ингвиль Брок (Ingvild

Broch), Бьярне Скова (Bjarne Skov) и Хельге Блаккисрюда (Helde Blakkisrud).

*Т. П. Лёнигрен*

*Университет Тромсё – Норвежский Арктический*

*Университет*

# Часть I. Минск

## Глава 1. Октябрь 1908. Перевод в Минск

Осень... Губаревка пустела. Сперва уехал в Петербург Ле-ля<sup>65</sup>, в начале сентября, вскоре затем Наташа, забрав своих «душечек» (как называла Тетя-бабушка своих внучек), забрав гувернантку, бонну и свой штат прислуги; сестра Оленька с приятельницей своей старушкой Ольгой Александровной Лидерт уехала в Петербург позже, в десятых числах октября. И нам с мужем пора было уезжать в Минск на службу: месячный отпуск Вити кончался 14 октября, но мне пришлось отпустить его одного, предстояло дожидаться Тетушку<sup>66</sup>, у которой все еще не были закончены ее «душевные дела», связанные с ее школами. Я дожидалась ее, потому что она решила зимовать у нас в Минске, а Оленька обещала к нам приехать не раньше как через месяц. Тетушке было те-

---

<sup>65</sup> Так в семье называли Алексея Шахматова, младшего брата Евгении Масальской. См.: Масальская Е. А. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове. – М.: Из-во им. Сабашниковых, 2012. – *Примеч. ред.*

<sup>66</sup> Шахматова Ольга Николаевна (рожд. Челюсткина), тетя, заменившая детям Шахматовым рано умершую мать. Здесь и далее: в этом значении сохраняется написание с прописной буквы. – *Примеч. сост.*

перь под семьдесят лет и, хотя все еще бодрая духом, она начинала сдавать физически, отпускать ее в далекую и непривычную дорогу не хотелось. Но, кроме того, мне предстояло завершить последний акт нашей земельной ликвидации, а наша последняя купчая на Липяги была назначена на конец октября.

За эти три года, начиная с 1905 года, мы продали всю нашу землю. Хозяйничать становилось все труднее. В Саратовском уезде стоял опять период засух и неурожая. Крестьяне совсем не платили аренды, а банк собирал проценты все так же усердно; пени росли с невероятной быстротой; приходилось занимать деньги и еще на них платить проценты, чтобы не лишиться последнего достояния на торгах Дворянского банка<sup>67</sup> – так, в последние годы, уходила вся помещичья земля, и не в одной Саратовской губернии! Быстро, на нет, сходилась вся дворянская Русь.

С помощью Крестьянского банка<sup>68</sup> все земли переходили крестьянам, усадьбы пустели или продавались с молотка. Особенно успешно работал Крестьянский банк после Гесенских иллюминаций<sup>69</sup> лета 1909 года, когда масса усадеб

---

<sup>67</sup> Дворянский земельный банк был основан в 1885 г. для поддержания земле- владения потомственных дворян. Выдавал ссуды под залог земли на длительные сроки и под низкие проценты.

<sup>68</sup> Крестьянский поземельный банк – государственное кредитное учреждение, основанное в 1882 г. Банк выдавал долгосрочные ссуды крестьянам на покупку частновладельческих, прежде всего дворянских земель.

<sup>69</sup> Хронологическая неточность. Волнения 1909 г. носили в большей степени

была разорена, сожжена со всеми постройками и ценным инвентарем: не щадили ни племенной скот, ни заводских копей – им вырезали языки, им выпускали кишки! Фруктовые сады и парки вырубались дотла и то, что бы при мирной ликвидации осталось бы тому же народу, во имя которого все это делалось, было сметено с лица земли.

Были не только сожжены, но взорваны минами каменные дворцы, пущены по ветру ценные библиотеки, картинные галереи, произведения искусства, рукописные памятники прошлого... Невозвратимые потери... Немало в этих разоряемых имениях было погублено школ, яслей, больничек и богаделен. Не жалели выгоняемых из своих родных усадеб разоренных людей, но какой смысл руководил и направлял это варварское истребление, это уничтожение культуры, насажденной десятками поколений? И кто жалел это? Кто принимал разумные меры к тому, чтобы погасить этот страшный пожар, гулявший по России? Ведь, если не знали, то кто же не слышал о таких светочах культуры, как Зубриловка князей Голицыных в Балашовском уезде на Хопре; Надеждино князей Куракиных в Сердобском уезде, Елань Устиновых; имений Воронцовых-Дашковых; Пады Нарышкиных

---

экономический характер, и страдали от них преимущественно крестьяне, выкупившие землю в результате реформы П. А. Столыпина, начатой в 1906 г. Нарождающийся слой хуторян-фермеров испытывал противодействие со стороны крестьян-общинников, которое выражалось в порче скота, посевах и расправах с самими хуторянами. Только за 1909-1910 гг. полиция зарегистрировала около 11 тысяч фактов поджога хуторских хозяйств.

и целый ряд имений, известных всей России, в других губерниях: князей Кочубеев в Полтавской губернии, Юсуповых в Воронежской губернии, Мусиных-Пушкиных в Черниговской губернии, Орловых-Давыдовых, Гагариных и пр., и пр.! Целые уезды были разгромлены, особенно Волчанский и Верхне-Днепровский.<sup>70</sup> Не пощадили и Погорельцы Перовских, хранилище не барских затей, а таких памятников старины, с которыми тесно связаны воспоминания о выдающихся людях нашей родины (графа Алексея Толстого, Жемчужникова и др.), то, чем гордятся в других государствах и что берегут, как зеницу ока.

Как реагировало «начальство», прокуратура? Были ли приняты предупредительные разумные меры? Пострадала тогда и Тамбовская, и Рязанская губернии, и наши тетушки «из племени Бистром». Богатое Солнцево Ивановых было разгромлено и тетю Любу<sup>71</sup> преданные люди вовремя увезли ночью в карете и отправили с нянюшкой в Москву. Наталья Антоновна, Любоцинские, Мацкевы не сдавались, защищали свое достояние, но ненадолго. Кто им пришел на помощь? И гибли так сотни, если не тысячи имений, больших и малых, богатых, дававших заработок сотням окрестных крестьян и рабочим, и бедных, еле прокармливающих своих владельцев.

Много было пережито черных страниц в истории России.

---

<sup>70</sup> Аграрные беспорядки 1905 г.

<sup>71</sup> Любовь Антоновна Иванова, урожденная Бистром, двоюродная сестра мамы.

На нет сводили ее культуру восточные кочевники, Мамай, Тамерлан. Но самоубийство великого народа в припадке белой горячки являлось таким потрясающим зрелищем, еще не виданным ни в мировой истории, ни в истории революций, что корни этой патологической болезни, вероятно, пришлось бы искать в глубине веков.

Забыть эти картины буйного помешательства нельзя! Можно только, и то не всегда, усилием воли их не вспоминать!

Мы тогда случайно остались в стороне от погромной волны. Население было совершенно покойно, и только газеты да нелепые слухи волновали его: еще не прибыли агитаторы, занятые разореньем богатых имений Катковой (князей Щербатовых) по Волге и Елшанке. Была только в конце октября *une fausse alarme*<sup>72</sup>: будто орда дикой мордвы, тронувшись значительно севернее нас, лавиной двигалась к нам. Но немцы в колониях (в Скатовке и Ягодной Поляне в сорока верстах от нас) выставили против них до тысячи человек и перегородили им дорогу. Погромщики повернули в Аткарский уезд, где снесли с лица земли тридцать пять имений. Я была в ожидании ребенка, и, хотя это событие ожидалось не раньше Рождества, Леля умолял нас переехать к нему в Академию<sup>73</sup>, волнуясь за переживаемые впечатления, которые могли отразиться на ребенке. Но оставить Витю одного в

---

<sup>72</sup> Ложная тревога (фр.).

<sup>73</sup> Академическая квартира А. А. Шахматова в Петербурге.

Губаревке в такое тревожное время являлось новой трагедией! Только после тревоги из-за мордовской орды, по настоянию самого Вити, я переехала с Тетей и Оленькой в Саратов, куда постоянно наезжал Витя. Но в Саратове начался бунт, еврейский погром. Кровь... Огонь...

Только наконец прискакавший Столыпин<sup>7475</sup> положил конец безобразию, успокоил население, приняв энергичные меры, проявляя распорядительность и личную смелость. До тех пор полиция и войска, «защищавшие народ от погромщиков», дружно, вместе с последними выпускали пух из подушек и делали облавы на перепуганных торговков, грабя ларьки и мелкие лавчонки. Не так защищал он свою губернию, когда еще до 1905 года начались болезненные проявления грядущего бедствия! И когда в 1907<sup>76</sup> году Столыпин был назначен Министром Внутренних Дел, задетый этим Н. Н. желчно съязвил: «Ну, и поздравляю! Допустил он сжечь и разорить всю Саратовскую губернию, также допустит он разорить и всю Россию».

Леля продолжал нас усиленно звать, «ради ребенка» (одного я уже потеряла). В ноябре мы переехали в Петербург. Витя остался один. Боже мой, как ужасно было, проезжая

---

<sup>74</sup> Петр Аркадьевич Столыпин был тогда саратовским губернатором.

<sup>75</sup> Столыпин Петр Аркадьевич (1862 – 1911), Гродненский и Саратовский губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906 – 1911), автор аграрной реформы, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.

<sup>76</sup> П. А. Столыпин стал министром в 1906 г. – *Примеч. ред.*

Кирсановским уездом, видеть ночью зарева пожаров в окна по обе стороны вагона!

В Петербурге Тетя с Оленькой устроились в квартире вместе с кузиной Граве<sup>77</sup>. Леля с Наташей перетащили меня к себе, в Академию, окружив меня заботами и вниманием. Но и в Петербурге ноябрь 1905 г. был ужасен! А главное, Всероссийская забастовка железной дороги, почты и телеграфа разъединили меня с Витей, остававшимся на своем посту земского начальника в Губаревке! Это удваивало мою тревогу и терзання.

Как было пережито это время, один Бог ведает! Вдруг, в начале декабря, Министерство внутренних дел перевело Витю в Минск членом губернского присутствия! Перевод этот был совершенно неожидан и даже нежелателен. Произошел он, вероятно, не без ведома тетушки А. П. Козен, которой вовсе не нравилась должность Вити d'un zemski natchalnik. Она отрицала это, может быть, и позабыв свои беседы с Е. Г.<sup>78</sup> Но факт был налицо. Назначение было пропечатано в Правительственном Вестнике. В. М. Пуришкевич<sup>79</sup> прочел

---

<sup>77</sup> Ольга Александровна, дочь двоюродного дядюшки Александра Ивановича Шахматова, замужем за Семеном Владимировичем Граве с 1920 по 1923.

<sup>78</sup> Челюсткина Елизавета Григорьевна, племянница О. Н. Шахматовой, жена Евгения Николаевича Кандыбы.

<sup>79</sup> Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870 – 1920), русский политический деятель правых консервативных взглядов, один из лидеров монархической организации «Союз русского народа». Член II, III и IV Государственных дум. Во время Первой мировой войны организовал один из лучших в Русской армии са-

об этом и прислал жену спросить меня, известно ли это мне? Конечно, нет! Я была поражена. Телеграф еще не действовал, но обещали скоро восстановить сообщение.

Разновременно было послано Вите три телеграммы: о назначении его в Минск, о рождении у него сына и о кончине ребенка<sup>80</sup>. Эти три телеграммы были получены Витей одновременно в Сочельник, и с первым поездом он прилетел, огорченный нашей горестной утратой и возмущенный назначением в Минск без его спроса. Он приехал отказываться. После всего пережитого не только за последние месяцы, но и на протяжении всего этого несчастного 1905 года мне было все равно. И я предоставила Вите одному решать этот вопрос. Он бурчал, негодовал, подозревал всех тетенок в мире в кознях против него и решительно упирался с переездом в Минск, ссылаясь на необходимость закончить продовольственную компанию в своем участке.

Тем временем и минская администрация встретила назначение Вити из Петербурга с не меньшим возмущением. Губернатор Курлов<sup>81</sup> протестовал, настаивал на своем кандида-

---

нитарных поездов, был одним из участников убийства Григория Распутина.

<sup>80</sup> 14 декабря. Леля называл его «маленьким Декабристом» (14 декабря – день Рылеева). Сонечка поразила меня тогда своей сердечностью. Эта кончина ребенка была так неожиданна, что Отт назначил совет, чтобы выяснить, кто виноват: ребенок, мать или Институт? Виноватым оказался Институт: неуход, невнимание... Но как было его требовать в дни Московского восстания? Одновременно тогда погибло несколько младенцев (двадцать неудачных рождений).

<sup>81</sup> Курлов Павел Григорьевич (1860 – 1923), генерал-лейтенант, губернатор киевский, минский, товарищ министра внутренних дел и главноначальствующий

те, заместителе начальника Минской губернии Глинке. Министерство не уступало и дважды напоминало Вите о необходимости поторопиться в Минск. Но Витя только в марте «согласился» съездить в Минск, и то условно, посмотреть, что его там ожидает. К счастью, в минском губернском присутствии открылась вторая вакансия, что бывает обычно очень редко. Глинка был удовлетворен, и Курлов примирился. Покорился и Витя, побывав в Минске. Его назначение было очень лестное. Непременный член считался третьим лицом в губернии. В начале апреля мы оба переехали в Минск, заняв два больших номера в лучшей гостинице на Захарьевской – отеле «Гарни» польского помещика Ленского. Мы не пытались даже устраиваться с квартирой, как товарищи Вити по службе Глинка и Щепотьев, мы боялись пускать корни в Минске и хотели быть готовыми в любое время вернуться в Саратов. Друзья Вити в Саратове так уверенно это обещали! Кропотов и Юматов, занимая ту же должность в Саратове, со дня на день ожидали повышения вице-губернатора, и тогда Витя непременно заранее будет предупрежден! И мы непременно тогда вернемся в Саратов! Но прошел год, два и три. Ожидаемой перемены не было, а мы все также ожидали ее в том же отеле «Гарни»!

Но после пятнадцати лет тревожной, тяжелой и ответственной службы земского начальника Витя теперь уж не мог не оценить своего нового положения: сравнительное

благосостояние, кабинетные занятия (Витя заведовал судебным отделом губернского присутствия), давно не испытанное спокойствие и безопасность.

В темные осенние ночи просто не верилось, что можно еще жить так покойно, ложиться спать, не опасаясь поджогов, нападений в крепких стенах «Гарни» со швейцаром и полицейскими на Захарьевской. Мы жили впервые для себя и друг для друга без душевного разрывания за окружающее; напротив, мы жили в большом, очень дружном и симпатичном обществе, которое встретило нас очень радушно. Отвыкшие в последние годы от общественной жизни, теперь мы с Витей почти ежедневно бывали приглашены на обеды, вечера и, со своей стороны, несмотря на жизнь в отеле, сумели устраивать в ответ и у себя, хотя и скромно, несколько обедов и вечеров. Казалось, нас прибило к какой-то счастливой пристани, где все за что-то нас полюбили и незаслуженно ласкали. Одно отравляло эту счастливую жизнь: разлука с семьей и Губаревкой. Это постоянно терзало и томило меня! Зимой, когда я знала Губаревку под снегом, а семью мою в Петербурге, я была покойна. Но, как только солнышко светило по-весеннему, поднималась тревога: как справятся с посевом, зацвел ли сад? Что жеребята? Всеми фибрами связанная с хозяйством в Губаревке, я следила шаг за шагом за ним путем переписки с преданной Ольгой Тимофеевной, Гагуриным Васей и др.

Но с моим отъездом в Минск и Леле предстояло позабо-

титься о Губаревке. Как было взваливать на него столь привычные мне заботы о хозяйстве? Ведь он приезжал отдохнуть на два-три летних месяца с семьей и все-таки усиленно тогда работал над своими научными трудами, забираясь с шести часов утра на вышку бельведера. Где же ему было доглядеть за полевыми работами? Свеча горела бы с двух концов. Поэтому все три лета подряд я спешила из Минска в Губаревку, где Тетя с Оленькой тосковали в разлуке с нами. Витя, отпуская меня, и сам вырывался в Губаревку в отпуск, но все это было нелегко! Одного месяца для хозяйства было мало. Когда же Витя оставался в Минске, он страшно тосковал. Тогда сердце разрывалось и за него. С Лелей была семья, а Витя был один! Езды двое суток, не наездишься. В последнее лето 1908 года я провела в Губаревке четыре месяца. Витя приезжал тогда в Губаревку из Минска два раза, его второй отпуск кончался четырнадцатого октября, но подобные отлучки не были терпимы на службе и уже вызывали ропот сослуживцев.

Леся не мог не принять к сердцу все эти вопросы, которые я не умела решать сама. «Я был бы спокоен за Губаревку, – писал он, – а главное и, конечно, прежде всего, лето не было бы отравлено разлукой».<sup>82</sup> В этом-то и была вся беда. Леся совсем не мог жить без семьи. О том говорили все его письма к родителям в детстве и молодости, а теперь он писал

---

<sup>82</sup> Письмо А. А. от 24.3.1908.

то же Шунечке<sup>83</sup> в их редкие и краткие разлуки. Но теперь, счастливый семьянин, хотя он допускал разлуку с нами и по целым зимам, но летом мы все же должны были собираться в Губаревке. Каждое лето, без исключения, мы проводили все вместе в Губаревке. Не удивительно, что мы с ней так сжились, что другого места летом и представить себе не могли. Да и была же она так хороша с ее дивным дубовым парком, яблоневыми садами и холодными ключами, бившими в глубоком овраге прямо из земли семьюдесятью родниками.

Постройки, воздвигнутые дедушкой, не были дворцами, но были еще крепкие, каменные. Мы любили их, и сады, и парк, занимавший до семидесяти десятин, потому что, кроме красоты природы, в них впервые было пережито все то, чем стоит помянуть жизнь и благодарить за нее! Приютившись в глубокой долине, у подножья лесного кряжа гор, Губаревка и окрестности ее, называемые саратовской Швейцарией, не могли не будить восторга своей красотой. За нами теперь поднимались «душечки», дети Лели, и они уже, эти три девочки, начинали слагать стихи, воспевавшие летнее утро, вечернюю зарю, лунную ночь, впервые поразившие их своей красотой в Губаревке, где они проводили лето всегда с самого раннего детства. А кто бывал в Губаревке и любил ее, тот поневоле узнавал тоску о ней, что немцы называют *Heimweh*, а французы *mal du pays*, то, что никакими клещами не вырвешь из сердца человеческого, потому что никакая

---

<sup>83</sup> Семейное прозвище Натальи Александровны Шахматовой.

красота чужих стран не заменит родины, не географически раскинутой на сотни верст родины, а того клочка земли, где красота природы тесно связана с переживаниями детства и юности.

И вот переезд в Минск грозил мне этой болезнью. Долго боролась я с ней, вырываясь летом из Минска, но как быть дальше, как согласовывать службу Вити, когда он более не был земским начальником в Губаревке, с хозяйством и жизнью в Губаревке, неразлучно со своей дорогой семьей? Голос благоразумия говорил мне, что нельзя же службу Вити принести в жертву моим фантазиям, что Витя, хотя и глубоко привязан к нашей семье, но он любит самостоятельность и независимость. Благодаря деликатности Лели и Наташи, у нас не было никаких трений в совместной жизни, но Витю подчас тяготил тот однообразный строгий режим, который держался в Губаревке. Леля с Наташей приезжали летом отдохнуть от городской суеты, а Витя был живой, общительный и не знал усталости. Он не был большой любитель деревенской жизни и сельского хозяйства, проводить теперь лето в Губаревке без службы на отдыхе было не в его характере.

Тот же голос благоразумно подсказывал, что Витя все реже и короче будет приезжать в Губаревку «в гости», и поэтому реже и меня отпускать, если я не создам ему независимый, собственный угол. Наличие трех домов в усадьбе позволяло нашим семьям жить, не стесняя друг друга, но так как по семейному разделу Губаревка была присуждена Леле,

то считать себя хозяином в усадьбе, распоряжаться в ней Витя, конечно, не мог. Мы с сестрой рассчитывали зимой получить ссуду за проданные Липяги, и мне уже приходило в голову купить какую-нибудь усадьбу, только усадьбу поблизости от Губаревки. Мы пробовали поговорить с ближайшими соседями Розенберг в Вязовке, Минхи в Полчаниновке, даже с Трироговыми в Аряши. Но никто не хотел расставаться со своими усадьбами. Впрочем, все это лишь *trompe-faim*<sup>84</sup>, утешала я себя, ничто не заменит мне Губаревки!

И когда в эту долгую теплую осень я особенно хлопотала о разбивке молодого фруктового сада за домом Лели, на бывшем гумнище, о взмете плугом под весенний посев луговых трав, о ремонте конюшни для дома выращенных жеребят, я особенно чувствовала тоску из-за разлуки со всем этим. Мы с сестрой, понимавшей меня, стали фантазировать: почему бы Леле не согласиться получить двенадцать-пятнадцать тысяч из ожидаемой Липяговской ссуды за право считать Губаревку нашей? Ведь это ни на йоту не изменит их дачной жизни, то есть отдыха на лоне природы? У них с Наташей три дочки. Могут появиться три зятя. Ну как они разделят Губаревку? Неужто разделят на кусочки? Не лучше ли ему будет выделять их деньгами? И тогда эти двенадцать-пятнадцать тысяч, в придачу к его капиталу, не испортят дела, а Губаревка останется неделимой и достанется той из них, кого мы с сестрой сочтем наиболее способной любить и холить Губа-

---

<sup>84</sup> Суррогат (фр.).

ревку, если и у нас с Витей не будет ребенка в меня, а не в Витю, который всегда предпочел бы выдел деньгами. Но Губаревка должна быть неделимой и неотчуждаемой, как маленький майорат, имение семьи, а не отдельного члена семьи. Леля, получив этот фантастический проект, взволновался. Нет, Губаревка была и ему дорога! Он не хочет к ней относиться, как дачник. Но он был бы счастлив, если бы мы с Оленькой считали себя совладельцами в Губаревке или же взяли ее в долгосрочную аренду. Об этом уже было много разговоров летом. Губаревский климат мало располагал к арендаторской деятельности, а совладение не решало вопроса. «Не понимает Леля своей пользы, так же, как и я, своего убытка», – говорили мы с сестрой. Отдавая более половины своей ссуды, я лишалась добровольно капитала, который сможет нас с Витей поддержать на жизненном пути... за призрачное право, так как служба Вити все же не позволит мне жить безвыездно в Губаревке, а превратить Витю в фермера невысказано.

«Я предлагаю такой порядок, – писал Леля, не вникая моим словам, – при котором мы все будем чувствовать себя в Губаревке, как у себя, как, впрочем, мы чувствовали бы себя в чужом имении, при чужом правлении. Для этого я и хочу сделать вас совладельцами Губаревки, а тебе вручить ведение нашего общего дела. Мое предложение ничуть не меняет против того, что было раньше, когда ты хозяйничала в Губаревке. Напротив, оно точнее определяет сложившиеся отно-

шения. Кто помешает тебе работать и заводить что-нибудь в общем нашем имении? Всячески желал бы сохранить тебя для общего нашего дела и удержать тебя от покупки другого имения. Ты, кажется, упускаешь из внимания твои прошлые страдания от безденежья и готова зарыть все деньги опять в землю. Я готов для отвращения этого поступиться и своими интересами. Но обсудим это дело всесторонне при свидании, а пока оставим вопрос совсем открытым».<sup>85</sup>

Я очень жалела, что подняла этот вопрос с Лелей, да еще путем переписки. Лелю взволновала не так моя просьба, которую он рассчитывал удовлетворить «совладением», а то, будто я огорчусь, получив отказ в ней, будто я рассержусь. Но я нисколько этому не огорчалась, чувствуя несостоятельность этого проекта. Витя одобрял его, потому что не терял надежду скоро-скоро получить перевод в Саратов, и даже не входил в рассуждения об условиях этого приобретения. Оленька горячо настаивала, потому что ей мерещились будущие зятя Лели, которые будто заставят ее на старость лет (она была уверена, что переживет всех нас), «скитаться», покинуть Губаревку, проводить лето по городам. Тетя мечтала о только том, чтобы скорее, вырвав нас из Минска, вернуть в Губаревку. Но мне было достаточно слов Лели, что он любит Губаревку, что он считает ее достоянием своих детей, что его огорчило бы отказаться от нее, чтобы отбить у меня желание фантазировать в этом направлении. «Нами с тобой

---

<sup>85</sup> Письмо А. А. от 3.10.1908.

руководит не эгоизм, а лишь любовь к Губаревке и к нашим семьям, – писала я ему в ответ, – поэтому все образуется к лучшему, и ради Бога, не думай, что я сержусь! Как могу я сердиться на тебя за то, что ты любишь Губаревку так же, как и я. Напротив, счастлива этому и надеюсь, что ты сумеешь в твоих дочках зародить такие же чувства к ней. А пока мы с Витей все еще связаны его службой, а мое дело – и о нем заботиться, о его вкусах, он у меня не любитель сельского хозяйства».

## Глава 2. Ноябрь 1908.

### Ликвидация земли

Кроме отравы из-за разлуки с Губаревкой и своими, кроме заботы о посеве, покосах, жеребятках и пр., меня связывали с Губаревкой наши денежные дела, давно ставшие моей задачей, те аренды за сдаваемые земельные участки, на которые мы жили. Сбор этих денег, уплата процентов, повинностей было дело сложное и пренеприятное, а поручить его было некому. Конечно, Гагурин, наше доверенное лицо из крестьян Губаревки (судья, писарь и т. д.), очень помогал мне в этих делах, но, во-первых, он сам был очень занят своей общественной службой, а во-вторых, все же надо было вести отчетность, общее руководство. А так как эти сборы начинались поздней осенью, когда и Леля уезжал в Академию, а сборы эти были очень сложные, потому что тормозились неурожаями (в Саратовском уезде опять настал период засух), то положение становилось довольно серьезным.

Еще летом 1906 года на семейном совете мы решили, что так продолжать нельзя, и первой нашей заботой, ввиду полной невозможности мне сидеть в Губаревке до глубокой осени, было приступить к продаже этих земельных участков. Общими усилиями мы с Лелей в августе того, 1906, года наладили продажу земли в Губаревке через Крестьянский банк своим же крестьянам по сто рублей за десятину. Это было

очень дешево, потому что в том числе была двадцать одна десятина поливной земли под огородами, спасавшими в самые засушливые годы, участок леса и шестьдесят десятин усадебной земли, на которой стояла деревня с садами и выпасом.

В марте я приезжала из Минска выписать купчую. Леля оставлял себе только усадьбу со старым парком (и двадцать десятин пашни в нем) и лесной участок, всего сто двадцать восемь десятин. Получив через полтора года ссуду Крестьянского банка в двадцать четыре тысячи за двести сорок три десятины, Леля все же теперь мог спать спокойно, так как без всяких хлопот и тревог получал свои шесть процентов<sup>86</sup> — то, чего земля никогда ему и не давала в последние годы. Затем шел черед Новополя, земельного участка Тетушки в семи верстах от нас. Он был запродаан нами летом 1907 года, и купчая на двести семьдесят восемь десятин по девяносто рублей была написана в мае 1908 года. Из полученной ссуды в двадцать пять тысяч было вычтено около девяти тысяч долга Дворянскому банку, и Тетя получила от Крестьянского банка 6 % обязательство 16 550 рублей. За ней оставался еще лесной участок в двести десятин, с которым я лично хлопотала, разбивая с землемером на мелкие участки и продавая их крестьянам за наличные исподволь и в рассрочку. Вырученные деньги шли на покрытие процентов, пени и по-

---

<sup>86</sup> Тысячу триста восемьдесят рублей за шесть процентов. Обязательство в двадцать три тысячи.

винностей, которые росли с каждым годом и насчитывались на земельном участке Тети, тоже мало приносившем.

Все эти дела были очень сложны, требовали массу хлопот, с Новопольем в особенности, так как банк всячески старался урезать ссуду под предлогом, что земля эта терпит от засухи, потому что находится в какой-то зоне «воздушного водораздела». Приходилось ездить в Петербург, и не раз, хлопотать в банке, доказывать, что эта зона не мешает земле очень хорошо родить хлеб, когда перепадают дожди, а не выпадают они по всему уезду, а не только в этой зоне. В сентябре того же 1907 года запродали мы и Липяги, земельный участок в соседнем Пензенском уезде, по семейному разделу присужденный нам с сестрой. Хлопот с ним было еще больше. Летом ездил дважды Витя, осенью ездил Леля, разделявший все наши труды по ликвидации земли, ездила и я два раза. Гагурин ездил несколько раз: то опоздал землемер, то не доехал оценщик, то крестьяне раздумали, то поссорились. Особенно тормозил дело крестьянин Нагорнов с братьями, не желавший покупать землю с обществом, а отдельно, на хутора: его межа не нравилась обществу, ему не нравилась отведенная ими грань. Мало того, обманом он еще прирезал себе пять десятин земли у общества. Опять вызов землемера, проверка и т. д. без конца! Наконец Крестьянский банк назначил к выдаче ссуду в пятьдесят две тысячи шестьсот. Но так как земля, участок отличного чернозема, совсем не знавшего засухи и неурожая, была куплена у нас крестьяна-

ми по сто восемнадцать рублей, то крестьяне внесли верхи до купчей, а Нагорновы рассрочили свои платежи на два года. Купчая была теперь назначена в Пензе, и мы с Тетей двадцать четвертого октября 1908 года, закончив «миллион де-лишек» в Губаревке наконец двинулись в Саратов с расчетом двадцать седьмого октября быть в Пензе, где нас ожидали к этому дню Нагорнов и липяговские крестьяне.

Не желая стеснять родных, в Пензе мы остановились в гостинице. Но как только я показалась в банке, меня увидел Кандыба<sup>87</sup>, а Гриша Олсуфьев<sup>88</sup> оказался делопроизводителем Крестьянского банка. Кандыба, как он выразился, «обезумел от радости», узнав, что со мной приехала Тетя и немедленно перетащил нас к себе, где Лиза с дочерьми встретили нас не менее радушно. Кандыба вызвался помочь мне во всех моих хлопотах в банке, казначействе, у нотариуса. Но все было отлично подготовлено заранее Гагуриными. Поэтому купчая была написана без всякого замедления.

Слушая трогательные разговоры на прощание с липяговцами, жалевшими, что с этой продажей земли у них порвутся связи<sup>89</sup> с нами, Кандыба вызвался заботиться о них, хло-

---

<sup>87</sup> Зять Тети, Евгений Николаевич Кандыба, женатый на ее родной племяннице Елизавете Григорьевне Челюсткиной.

<sup>88</sup> Внук Тети, Евгений Григорьевич Олсуфьев, сын племянницы ее Есиповой (в первом браке за В. А. Олсуфьевым, во втором – за С. А. кн. Святополк-Четвертинским).

<sup>89</sup> Связи, довольно отдаленные, потому что у нас в Липягах не было усадьбы, и мы никогда с ними не жили. Это был остаток от когда-то большого имения наших

потать о школе, о травосеянии. У него были связи в губернии, и он положительно изнывал от безделия, расставшись незадолго перед этим со своим Крутцом.

Я дала ему доверенность, чтобы закончить дело с Нагорновым, и мы расстались с Пензой с самыми лучшими пожеланиями друг к другу.

Крестьяне были очень довольны. Мало того, что они благодарили без конца, они еще послали нам вслед письменную благодарность с подписями всего общества и печатями – за себя и за «мнучат», которые, теперь не станут считаться безземельными. Отдельно тогда было еще приложено письмо на имя нашего покойного отца с удивительным адресом «на небо». В нем крестьяне вспоминали, как они, или, вернее, отцы их когда-то неохотно во время эмансипации шли на полный надел. Все окружные селенья предпочли тогда получать по одной десятине, дарственной на душу, и теперь бедствуют без земли, шатаясь в батраках, тогда как они, по настоянию отца вопреки даже их желанию, вышли на полный надел<sup>90</sup> и были теперь все «хозяевами» с хлебом и скотом: их кони славились во всей округе. А теперь они могли прикупить себе ещё и наш участок.

Таким образом, по купчей двадцать девятого октября 1908 года липяговские крестьяне купили четыреста восемь-

---

предков, исподволь раздробленное и теперь уже все распроданное крестьянам.

<sup>90</sup> При наделении крестьян землей в 62 году на душу давалось 4 десятины за выкуп или одну десятину на душу – даром.

десять восемь десятин за пятьдесят семь тысяч шестьсот и Нагорнов купил пятьдесят две десятины за шесть тысяч.<sup>91</sup> Дворянский банк удерживал четырнадцать тысяч, да за проценты и повинности, также и за частные долги на покрытие процентов в 1905-1906 годах и другие расходы отходило еще около девяти тысяч, и нам с сестрой очищалось по двадцать две тысячи на каждую. Всего же нами было продано за эти два года тысячу сто тридцать десятин на сумму в сто двадцать тысяч, от которой нам осталось всего восемьдесят четыре тысячи. Мы выбывали из земельного класса и становились «рантье», которые, не тревожась и не боля душой, спокойно режут себе купоны.

С большим нетерпением ожидал нас Витя в Минске. Он задержал еще два больших номера, смежных с нашими номерами в отеле «Гарни», так что мы занимали всю половину третьего этажа с двумя балконами и окнами на Захарьевскую. На том же этаже на другой половине также постоянно занимали два номера Урванцевы, врачевный инспектор с женой, волею судеб ставшие нашими ближайшими друзьями, отчасти благодаря ежедневным свиданиям.

Наши восточные ковры, индейские скатерти, подушки, драпировки придавали нашим комнатам необыкновенно

---

<sup>91</sup> 488,5 + 51,5 в Липягах и отдельно 17 десятин леса = 557 десятин – 66 600 рублей 243 десятины в Губаревке и отдельно 17 десятин леса = 243 десятины – 24 000 рублей 278 десятин в Новополе и 52 десятины из лесного участка = 330 десятин – 30 000 рублей Всего 1 130 десятин – 120 600 рублей И осталось 128 десятин в Губаревке и в Новополе 147 десятин—275 десятин

красивый вид, особенно же украшала их масса фотографий, портретов и «галерея предков» в золоченых рамах, до потолка закрывавшая стены. Часть этих портретов была нам оставлена Вячеславом<sup>92</sup>, когда он покинул свою службу в Иркутском полку в Борисове и уехал искать счастья в Петербург.

Но увы! Всё: хлопоты и волненья с купчей, беспрестанные поездки, а в Минске распаковка и раскладка вещей кончились тем, что десятого ноября мне пришлось в третий раз отказать от счастья быть матерью. Как дорого тогда мне было присутствие Тетушки, как умела она своей лаской и вниманием ободрить и утешить! Все ей нравилось у нас в «Гарни», до прислуги и кухни включительно. Чрезвычайно приветливая, общительная, несмотря на свою сдержанность и своего рода строгость, она по обыкновению вызывала к себе общую симпатию наших друзей. Не так отнеслась к Минску сестра Оленька, приехавшая к нам из Петербурга в середине ноября. Зимовать в Минске вовсе не радовало ее; ей казалось, что она покидает Петербург навсегда, а она так обожала этот город! Ее огорчала разлука с Лидерт, учившей ее рисованию по фарфору, с Гаусман, дававшей ей уроки пения, с духовными друзьями, институтскими подругами и пр. и пр.

Меня сначала тревожило это недовольство, эта жертва со стороны сестры. Но вскоре Витя познакомил ее с худож-

---

<sup>92</sup> Трююродный наш брат Вячеслав Александрович Шахматов, брат Ольги Александровны Граве. Он служил в драгунском Иркутском полку в городе Борисове, и мы с ним часто тогда виделись в Минске, пока он в чине полковника не вышел в отставку.

ником Суковкиным, и она со свойственным ей увлечением принялась рисовать с натуры. А затем оказалось, что Урванцева такая веселая и забавная, Родзевич<sup>93</sup> симпатичная и музыкальная, Сорнева<sup>94</sup>, ее бывшая товарка по Екатерининскому институту, любезная и гостеприимная, словом, и в Минске можно иметь друзей и встретить приятное общество.

Как ни грустила я, покидая осенью Губаревку, но в Минск я уезжала все-таки с большим удовольствием! Как-то особенно легко и приятно складывалась там для нас жизнь. Единственным облачком все-таки являлся Глинка. Этот товарищ Вити по службе не мог забыть, что Витя был назначен ему на голову, и он чуть не лишился столь давно ожидаемой им вакансии неперемного члена. Впрочем, сначала и с ним все шло ладно. У него была очень милая жена, с которой у меня завязалась дружба, но затем все-таки пробежала между нами кошка, и Глинка стал в скрытой оппозиции к Вите.

К несчастью, и в Минской губернии настал неурожай, вызванный жарой и засухой, явлением исключительно редким в этом крае. Пришлось впервые организовать продовольственную компанию. Новый губернатор Эрдели<sup>95</sup>, сменивший Курлова, поручил ведение этой компании Вите, кото-

---

<sup>93</sup> Ольга Косьминична Родзевич, жена Д. В. Родзевича, председателя губернского управления в Минске.

<sup>94</sup> Лидия Николаевна Сорнева, жена Степана Николаевича Сорнева, уездного предводителя в Минске.

<sup>95</sup> Эрдели Яков Егорович (1856 – 1919), минский губернатор (1906-1912), член Государственного совета по выборам.

рый проводил ее уже в Саратовском и Аккерманском уездах. Витя принялся за дело со свойственным ему жаром и увлечением. Вызвал из Губаревки Гагурина, как опытного и добросовестного человека, сам ездил с ним на юг, в Полтавскую губернию закупать хлеб, опасаясь обмана и недосмотра. В результате продовольственная кампания, занявшая всю зиму 1907-1908 года, прошла блестяще, вызывая общее одобрение. Выданный крестьянам хлеб был признан лучшим и самым недорогим в сравнении с другими губерниями. Это обратило внимание в Петербурге Гербеля<sup>96</sup>, и Витя был представлен к Владимиру. Все это, конечно, не способствовало симпатии Глинки, и незаметно образовалась трещина в дружеском кружке, в котором нам было так хорошо в Минске.

Хотя общие симпатии, сознаюсь, были пока на нашей стороне, но появилось какое-то, сначала очень небольшое, чуть заметное осиное гнездо, которое приютилось в женской половине семьи Эрдели. Несмотря на отличное отношение самого Якова Егоровича к Вите, осиное гнездо всегда было готово если не жалить, то по крайней мере близко не подпускать нас, да и много других, к чрезвычайно добродушной его жене Вере Петровне, влияя на их дочерей, уже взрослых барышень. На беду еще вице-губернатор Чернцов был смещен Шидловским<sup>97</sup>. Осиное гнездо, не благоволившее к Чернцо-

---

<sup>96</sup> Гербель Сергей Николаевич (1856 – 1936?), начальник Главного управления по делам местного хозяйства МВД (1904 – 1912).

<sup>97</sup> Шидловский Константин Михайлович (1872 – 1917?), минский вице-губер-

вым (жена его Ольга Александровна Задонская была красивая и умная женщина), уже совсем ополчилась на Шидловских.

Осы – существа женского рода, и в осином гнезде, кажется, не было мужчин... кроме Глинки.

Шидловские были очень гостеприимны, жили открыто и вскоре приобрели общую симпатию и друзей. В числе последних были и мы. Особенно мила была маленькая, грациозная, изящная, с глазами лани, жена вице [губернатора], Наталья Петровна. Тата́, как звали ее обычно все, полу-итальянка, графиня де Корветто, чуть ли не в пятнадцать лет, со скамейки Екатерининского института, вышла она за красивого пажа, чиновника особых поручений при киевском генерал-губернаторе, Константина Михайловича Шидловского, и теперь едва в тридцать лет у нее было уже трое немаленьких детей. Живая, любезная, увлекающаяся, Тата́ произвела сначала на всех чарующее впечатление, но затем в ней нашли минус: чрезмерное увлечение благотворительной деятельностью. Она никого не оставляла в покое, приглашала всех дам общества к себе работать на детей приютов, «отрывая от их семейных обязанностей». И все это являлось как бы в пику более уравновешенным дамам патронессам. Став председателем Второго Благотворительного Общества, Тата́ буквально подняла всех на ноги, чтобы создать новый приют для сирот, устраивала базары, вечера аллегри, от которых никто

не мог отказываться, и вечера ее, надо сказать, пользовались большим успехом. Понятно, что дамы патронессы (Эрдели или Долгово-Сабурова, жена Губернского Предводителя), не могли быть очень довольными. И тогда осиное гнездо стало раздуваться и жужжать уже основательнее. Сначала до нас не долетало это жужжание, но прошлой весной, на свою беду, мы выиграла в лотерее, устроенной семьей уезжавших в Сибирь Мигай, пару пони. Поместить их в «Гарни» было негде, продать было жаль, и я отдала их в распоряжение приюта Татá. То-то поднялось ворчание по этому поводу! Этим как бы было подчеркнуто мое расположение к Татá. Супруги Урванцевы занимали самое трудное положение: дружили с нами и нашими друзьями и считали необходимым сохранять свое положение ближе к солнцу, не взирая на осиное жужжание. На эту тему у Надежды Николаевны Урванцевой постоянно поднимались споры с Витей, и она умела доводить его до белого каления, он не признавал никаких компромиссов.

Еще в Москве, по дороге из Пензы, я получила за раз три письма его по этому поводу. «Представь себе, Шидловская хочет, во что бы то ни стало, тебя запрячь в своем Обществе! Урванцева оскорбительно заметила, что тебе волей-неволей придется идти за ней... ради службы мужа». Конечно, я узнавала милую Надежду Николаевну, которая знала, как вскипятить Витю. Он, как и требовалось, вскипел бурным ключом и объявил Урванцевой, что именно из-за этого я и откажусь совсем от Второго Благотворительного Общества «хотя

бы все вице и губернаторши ополчились на тебя. Урванцева еще добавила, что Шидловская тебя не пустит за границу, заставит тебя выгнать поляков и насадить русских детей в ее приюте. Все это меня так взволновало, что сердце бьется. Главное, я не уверен в тебе: вдруг ты по бесхарактерности согласишься. Я тогда с ума сойду! У меня мысли путаются и руки дрожат от мысли, что ты подчинишься ей и не оставишь ее Обществ».

Не могу сказать, чтобы, получив эти письма в Москве, я очень обрадовалась результату интриги милой Надежды Николаевны! «Ради моего спокойствия и мира в нашей семье, – писал Витя в последнем письме, – прошу тебя, дорогая моя, откажись под благовидным предлогом от членства в этом обществе. Шидловская рассчитывает главным образом на тебя, чтобы ездить по знакомым, выклянчивать пожертвования на ее приют. Как это унижительно, как это возмутительно! Прими лучше энергичное участие в Археологическом Обществе. У меня руки дрожат, и я писать не могу, так меня возмущает распоряжение тобой со стороны этих благотворительных дам». И хотя «эти благотворительные дамы» распоряжались мной только в фантазии Урванцевой, но Витя успокоился только тогда, когда, отправившись к Шидловским, лично разъяснил Татá, что впредь я буду участвовать в делах ее приюта платонически, т. е. деньгами и советами, но не «физически», и отказываюсь быть членом правления, потому что ты всецело можешь участвовать лишь в Археологи-

ческом Обществе и у себя дома, пояснил он ей. Тата сперва возмутилась, но потом объяснила все это случившееся моим нездоровьем и вскоре успокоилась, зная, что я никоим образом не откажусь от приюта, из-за которого мы с ней столько хлопотали в прошлом году.

## Глава 3. Декабрь 1908.

# Минское церковное историко-археологическое общество

Но что же это было за общество, только в котором разре-шалось Витей участвовать?

Помнится, еще весной, я как-то писала брату, что не «успеваю за жизнью». «И визиты, званые вечера, обеды, а сверх того масса общественных обязательств, заседаний и пр. Кроме Второго Благотворительного Общества и приюта и Тата, архиерей зовет меня в Красный Крест, врачебным инспектором во вновь учреждаемое «гигиеническое обще-ство». Вчера меня выбрали в попечительство Домов трудо-любия. Состою членом покровительства животных и Археологического Общества<sup>98</sup>. А по утрам перевожу на французский язык один реферат, который знакомый техник Опоков готовит к конгрессу гидрологов пятнадцатого мая. Гонорар пойдет в пользу нашего приюта».<sup>99</sup> На это письмо Леля мне тогда ответил: «Очень жалею тебя, что ты взялась за перевод специальной работы на французский язык. Вещь очень труд-

---

<sup>98</sup> Минский церковный историко-археологический комитет (общество), со-зданное для изучения белорусской церковной старины при Минской епархии в 1908 г., действовал до Первой мировой войны.

<sup>99</sup> Письмо Е. А. от 18.3.1908.

ная и ответственная. Береги свои силы и не разбрасывайся. Получится в результате полное неудовлетворение. Сужу по себе, а силы наши в общем одинаковые. Лучше всячески сокращать свою деятельность, чтобы делать ее производительнее. Если бы ты сосредоточилась на Археологическом Обществе, было бы, думаю, целесообразнее и вышел бы действительно толк». <sup>100</sup> Я всегда считала брата неизмеримо выше себя по мудрости житейской (ученые достижения мало меня трогали), и я послушала его совета. Работу Опокова пришлось, конечно, закончить. Она, действительно, была очень специальна (о речных системах) и нестерпимо скучна.

Но, хотя от приюта Татá я не могла отказаться никоим образом, я смогла, числясь членом других обществ, ограничиться одними пятирублевками и внимательнее отнестись к Археологическому Обществу, как мне рекомендовала Леля, а теперь и Витя, по-видимому, как панацею от всех зол. Это общество не привлекало внимания дам патронесс: там, кстати, ни одной из них и не было. Оно скромно, по инициативе епископа Михаила, работало под сенью архиерейского дома, занимая в нем две комнаты и два сухих подвала. Средства были очень ограниченные, зато любви к делу премного. Председателем общества был скромный старичок Былов – директор народных училищ. Далее главными действующими лицами были Панов, инспектор духовной семинарии, Смо-

---

<sup>100</sup> Письмо А. А. от 31.3.1908.

родский – преподаватель малой гимназии, Скрынченко<sup>101</sup> – редактор епархиального ведомства, А. К. Снитко – помещик. Комитет существовал фактически уже с весны 1907 года, но устав его был утвержден Синодом в октябре и официальное открытие его было тринадцатого февраля 1908 года, в день трехсотлетия со дня кончины князя Константина Константиновича Острожского<sup>102</sup>, ставшего патроном этого общества. Членами общества были разбросанные по губернии священники, учителя и любители старины.

Следы этой старины, хоть и слабые, стертые польской культурой, бережно и упорно собирались ими, чтобы доказать, что этот край – исконно русский и православный, не «забранный» у поляков, как утверждали последние. Из дальних и глухих церквей стали присылать в музей старинную и церковную утварь, иконы, рукописные Евангелия. Попадались интересные вещи, старинные облачения, соломенные двери, соломенные венчальные венцы из древних бедных церквей Полесья, старообрядческие кресты, слущкие пояса, деревянные ангелы из униатских церквей, бронзовые изоб-

---

<sup>101</sup> Скрынченко Дмитрий Васильевич (1874 – 1947), богослов, публицист, историк, педагог. В 1910-1912 гг. редактировал газету «Минское слово».

<sup>102</sup> Острожский Константин Константинович (1526 – 1608), староста Владимирский и маршалок Волынской земли (1550 – 1608), воевода киевский (1559 – 1608), покровитель православной веры. Младший сын великого гетмана литовского князя Константина Ивановича Острожского (1460 – 1530). Основал Острожскую типографию, в которой работали первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец.

ражения языческого божества, бронзовые кольца и монеты из раскопок, даже окаменелости, а также старые книги и рукописи. Конечно, последние более всего заинтересовали Лелю, который очень обрадовался, узнав о создании такого музея, причем он все справлялся, не будет ли у нас печатного органа? Тогда бы я мог дать свою статейку об одной Туровской церкви, писал он<sup>103</sup>. Таким печатным органом явилась «Минская старина», изданная позже, уже в 1909 году.

Еще в начале 1907 года мы случайно узнали о смерти известного коллекционера Г. Х. Татура<sup>104</sup>, «ограбившего», как говорится, все церкви Минской и Могилевской губерний. Витя, разделявший мою страсть к старине и тоже член Археологического Общества, тогда немедля разыскал домик Татура, где-то на выезде за рекой Свислочь, и мы поехали к его вдове – бездетной, полуграмотной и придурковатой женщине. Покойный оставил ей весь свой музей, в котором, конечно, она ровно ничего не понимала. Со слезами умоляла она нас «просить государя купить у нее эти оставленные ей мужем вещи», причем, в глазах ее, этот муж был очень неосновательный человек, совсем не умевший деньги зашибать! Но покойный путем мены именно умел ее зашибать, потому что четыре низкие комнаты ее деревянного домика

---

<sup>103</sup> Письмо А. А. от 8.3.1908.

<sup>104</sup> Татур Генрих Хризостомович (1846 – 1907), белорусский археолог, историк, краевед, коллекционер, член Минского статистического совета, уездный маршалок дворянства.

были сплошь завалены такими ценностями, которые, конечно, не могли быть им выкрадены. Чего тут только не было! Начиная с полного рыцарского вооружения с гербом князя Радзивилла, ценных картин, громадного количества книг и рукописей, церковной утвари, антиминцев, крестов, древних икон и Евангелия и кончая коллекциями монет, минералов, египетских ценностей, амулетов, драгоценных камней, колец и пр., пр., все это было навалено одно на другое и покрыто густым слоем пыли и паутины. У знатока-антиквара глаза бы разбежались!

Мы с Витей, не медля, переписали названья нескольких рукописей и послали их Леле, умоляя приехать его самого. В ответ, через день, Леля телеграфировал, что Академия Наук командирует ученого, хранителя рукописей Срезневского, а еще через день Срезневский<sup>105106</sup> спешно прибыл в Минск. Он познакомился с рукописями, взял под расписку некоторые из них, которые он считал нужными представить Академии для того, чтобы выхлопотать сумму денег для их приобретения.

Действительно, Академия сочла их интересными, важными. Был поднят вопрос, как раздобыть десять тысяч, чтобы приобрести всю коллекцию, которую вдова отдавала с боль-

---

<sup>105</sup> Срезневский Всеволод Измаилович (1867 – 1936), археограф, палеограф, историк литературы, библиограф, член-корр. ИАН, в 1891-1893 гг. работал в Императорской публичной библиотеке, с 1893 – в Библиотеке академии наук, где в 1901-1931 гг. был хранителем отделения славянских рукописей.

<sup>106</sup> Срезневский Всеволод Измаилович (см. примечания).

шой охотой. Волновался Леля, боясь потерять случай приобрести для Академии все эти ценности. Волновались и мы с Витей, и особенно душа Археологического Общества Андрей Снитко, местный белорусский помещик, с которым мы очень тогда сошлись. В Академии дело как будто и налаживалось, но что-то затягивалось. Выхлопотать такое крупное ассигнование было нелегко. Опасаясь, что ценная коллекция, оставшись без призора, разойдется по рукам скупщиков (Академия была намерена взять лишь книжный рукописный запас), Скрынченко известил известных любителей и знатоков: графиню Уварову<sup>107</sup>, Забелина<sup>108</sup>, Щукина<sup>109</sup>, князя Щербатова<sup>110</sup>. Но графиня Уварова была в отсутствии, Щукин и Забелин тяжело больны, Щербатов заглазно предполагал дать восемь тысяч за все.

Тем временем приехал к вдове Татур меценат граф Тыш-

---

<sup>107</sup> Уварова Прасковья Сергеевна (рожд. Щербатова, 1840 – 1924), графиня, археолог, историк, председатель Московского археологического общества, жена А. С. Уварова, основателя Исторического музея, почетный член управления Музея.

<sup>108</sup> Забелин Иван Егорович (1820 – 1908), археолог и историк, специалист по истории Москвы; член-корреспондент по разряду историко-политических наук, почетный член ИАН, инициатор создания и директор Императорского Российского Исторического музея. Автор ряда капитальных трудов по истории России.

<sup>109</sup> Щукин Сергей Иванович (1954 – 1936), московский купец и благотворитель, коллекционер.

<sup>110</sup> Щербатов Николай Сергеевич (1853 – 1929), князь, историк, археолог. Последний директор Императорского Исторического музея в Москве, брат графини П. С. Уваровой.

кевич<sup>111</sup>, взглянул на эти четыре комнаты и, не торгуясь, выложил ей наличными двадцать тысяч. Все было немедленно запаковано и отправлено в его резиденцию «Червонный Двор»<sup>112</sup>. Снитко и Скрынченко чуть не плакали, а Леля не успел еще даже выяснить решение Академии, когда нам пришлось известить его о необходимости вернуть рукописи, закупленные Тышкевичем.

Хотя мы были членами общества, которое фанатически собирало все следы русско-славянской культуры и было одушевлено довольно острым антагонизмом с польской культурой и «польским засильем», мы с Витей не могли проникнуться их шовинизмом! Эти чувства совершенно чужды восточным губерниям, где борьба национальностей отсутствует и в особенности не разжигается. Там почти сплошь одно русское племя, а инородец является даже приятным исключением. С немецкими колониями, хотя и обставленными гораздо лучше нас, антагонизма не было совсем, хотя они держали себя отчаянно особняком, а с мордвой, татарами, чувашами к чему же тягаться?

Нельзя было не дать справедливой оценки не польскому народу, мало отличающемуся от нашего, но польской интеллигенции, в которой чувства патриотизма и национальности не разбавлены безразличием, космополитизмом, ниغي-

---

<sup>111</sup> Тышкевич Бенедикт Ян (1852 – 1835), коллекционер из рода Тышкевичей, владелец Червоного (Красного) двора под Ковно.

<sup>112</sup> В Ковенской губернии.

лизмом! Они любят свою родину и гордятся ею, гордятся и деятелями ее. Для них не безразличны, не вызывают критики и насмешки имена князей Островских, Огинских, Сапег, Сангушко, Вишневецких, Друцких, в особенности самых популярных из них Радзивилл. Имена князей: Радзивилл Черный<sup>113</sup>, Радзивилл Сиротко, Радзивилл Пане-Коханский<sup>114</sup>, произносимые с восторгом и уважением, слышатся в любой польской речи, когда поляки перебирают прошлое и настоящее своей родины. Несвиж, Лахва, Клецк, Мир, Олыка и сотни других местечек и селений, владения князей Радзивилл (частью отошедших по женской линии к Гогенлое, Витгенштейнам и конфискованных) известны всему краю.

Из современников еще существовал князь Радзивилл на русской службе, принимавший участие в Японской войне. Раза два он заезжал к нам по поводу каких-то раскопок и орудий каменного века, которые он хотел пожертвовать в Эрмитаж. Старшая линия Радзивилл живет за границей, вдова с малолетними сыновьями, и только изредка наезжает в свой замок в Несвиже близ Немана, дивный исторический замок! Было еще немало замков и менее видных палаццо с остатками былого великолепия, владельцы которых бережно хранили памятники былой культуры и собранные цен-

---

<sup>113</sup> Радзивилл Николай Христофор по прозвищу Чёрный (1515 – 1565), государственный деятель Великого княжества Литовского, отец Николая Сиротко. Был прозван Чёрным из-за цвета своей бороды.

<sup>114</sup> Радзивилл Кароль Станислав (Пане Коханку, 1734 – 1790), виленский воевода с 1762 г. Владел огромным поместьем, знаменитым Несвижским замком.

ные библиотеки, картинные галереи. Щарсы Хрептовичей, Логойск Тышкевичей, Мышь Ходкевичей<sup>115</sup>, Погост Друцких-Любецких, Березино Потоцких и многие другие – настоящие музеи. Поречье Скирмунта с образцовым хозяйством<sup>116</sup> не вызывают своим богатством зависти, а будят национальную гордость той части интеллигенции, которая у нас считает своим долгом становиться в оппозицию и бежать с красным флагом впереди пьяных погромщиков.

Но я опять возвращаюсь к погромам! Да, забыть их нельзя, но не вспоминать их можно усилием воли. Нам мало приходилось тогда встречаться с польским Обществом, которое только раз в год перед Рождеством съезжалось в Минске на свои блестящие благотворительные базары и балы. Обычно же Общество круглый год проводило за хозяйством в своих имениях. Мы не знали польского языка, не читали польских исторических книг, но самое поверхностное знакомство с историей этого края, на месте, представляло в ином свете и раздел Польши, и польские мятежи, и Муравьева<sup>117</sup>, и ссылки.

Давно, мне не было отроду года, когда отец наш<sup>118</sup>, проку-

---

<sup>115</sup> Графы Ходкевичи на Мыше и Шклове.

<sup>116</sup> См. Довнар-Запольский. Путешествие по Пинскому уезду.

<sup>117</sup> Муравьев-Виленский Михаил Николаевич (1796 – 1866), граф, участник Отечественной войны 1812 года, гродненский, минский и виленский генерал-губернатор (1863 – 1865). Известен решительным подавлением восстаний в Северо-Западном крае, прежде всего, польского восстания 1863 г.

<sup>118</sup> Шахматов Александр Алексеевич.

пор в Воронеже, поднял бурю негодования в обществе и навлек на себя гнев администрации тем, что возмутился, узнав, что из Киева гонят в Сибирь партию польских студентов в кандалах. Без разговора он велел с них снять эти кандалы и горячим заступничеством в Министерстве настоял на прекращении подобной жестокости. Как понимала я его теперь, вспоминая этот поступок!<sup>119</sup> Студенты эти не губили свою родину, а защищали ее, не могли мириться с ее утратой!

В Археологическом Обществе один Снитко понимал нас, но мы и не входили ни в какие препирательства с остальными его членами. Все это были, вероятно, прекрасные люди, горячо преданные своему делу. Они, конечно, были правы, когда отыскивали под слоями былой пышной культуры Польши свои исконные земли. Ведь то были православные русские княжества, земли князя Владимира и его потомства, бывшие за ними задолго до владения католической Польши. Нельзя было требовать от них равнодушия к заветам своего патрона князя К. К. Острожского, киевского воеводы, сына знаменитого гетмана литовского Константина Ивановича! Героический дух защитника русского народа и православия против воинственного католицизма и полонизма, широкие стремления бороться с ними путем просвещения народа, школы, типографии, первое издание (1581) и перевод Библии и богослужебных книг по греческим подлинникам (70 толковников), а не только несметные богатства (в

---

<sup>119</sup> О котором прочла случайно в его письме к матери.

его владении было двадцать пять городов, шестьсот церквей, девяносто монастырей) окружили славой имя этого последнего представителя доблести и духовной силы, названного в грамоте Стефана Батория<sup>120</sup> «Верховным Хранителем и защитником церкви православной, веры „старожитной“». В свои восемьдесят два года этот друг Андрея Курбского<sup>121</sup> все также пользовался популярностью и общим уважением, то, чем уже не пользовались его дети<sup>122</sup>.

Были правы члены нашего общества, утверждая, что русская культура X–XII веков в Киевской Руси достигала высокой степени развития, нисколько не ниже западноевропейской, пока волны татарских полчищ и восточных кочевников не смели ее с лица земли. России тогда приходилось выдерживать натиск и первые удары варваров, высылаемых Азией на Европу и, грудью защищая Запад, сама превращалась в пожарища, развалины и пустыни. А когда после двухсот лет

---

<sup>120</sup> Баторий Стефан (1553 – 1586), король польский и великий князь литовский. В 1579 выступил в поход на Московское государство, но после ряда побед над войсками Ивана Грозного, не смог взять Псков и заключил перемирие с Москвой.

<sup>121</sup> Курбский Андрей Михайлович (1528 – 1583), русский полководец, политик, писатель, приближённый Ивана Грозного. Однако в 1564 г. в разгар Ливонской войны получил известие о предстоящей опале, бежал и поселился в Великом княжестве Литовском, откуда вёл с русским царём многолетнюю переписку.

<sup>122</sup> Слава Острожских померкла, хотя род их погас значительно позже, в XIX в. Граф и графиня Блудовы, последние из их рода, пожертвовали громадные деньги на устройство целого ряда благотворительных и просветительных учреждений в городе Остроге.

рабства и разорения Россия справилась со своей бедой, по выражению одного старинного историка, она стала как бы «новой землей после вторичного потопа»: города, крепости и замки были сожжены дотла, даже старинные названия их исчезли, от Холмгарда, Тунугарда, Роталы, Альргема и других городов не осталось и следа! Явились новые обычаи и законы, новое управление, новая жизнь. Народ был истощен, и былой блеск этого государства померк. А западные государства, от которых Россия отстала на два века, шагали вперед в своем развитии. Польские и Литовские государства сменили русские княжества. Россия стяну лась к Суздалию, Москве, а Киевская Русь стала Польшей! Польшей она стала несколько сот лет тому назад, и польская интеллигенция и не вспоминает русских князей. Эти западные губернии испокон веков были их земли, а теперь русские отнимают у них родину! Прощать русским, более даже чем немцам, раздела и покорения Польши они не могут. Это их Польша! Теперь нашим скромным работникам просвещения оставалось лишь разыскивать следы валов, курганов, укреплений, неизвестных городов, записывать предания, песни и легенды, в которых встречались имена и события летописи: Копыл, Слуцк, Клецк, Новогрудок, Менеск и др.

Теперь, когда Тышкевич увез в Червонный Двор всю коллекцию Татура, мы вряд ли уже могли порадовать Лелю, бывшего в полном отчаянии, чем-либо особенно интересным. Рукописи разыскать не удалось. Я сообщала ему все, что

присылали в музей из уездов, но пока то были сущие пустяки: рукописные евангелия не старше XVI века, октоих, иконы далеко не древнего письма. Заинтересовало его предложение одного псаломщика игуменского собора продать старинный медный крест с надписью 1010 года. Леля просил снять с него фотографию и написать заметку для помещения в «Известия Академии Наук». Надпись была интересная, этот крест, гласила она, был дан святым Иоанном Богословом преподобному Авраамию<sup>123</sup> для победы над идолом Велесом при князе Владимире. Но точно такой же крест хранился в Авраамиевском монастыре (см. Шляпкин<sup>124</sup>). Который из них был подлинный?

По этому поводу мы перекинулись с Лелей несколькими письмами, и Леля все более и более в курсе наших дел, он очень одобрял намеченные обществом экскурсии по губернии и сам мечтал принять в них участие. Первая наша экскурсия была на ближайшую, в 30 верстах от Минска, станцию Заславль, некогда город Изяславль, удел князя Изяслава, сына Владимира<sup>125</sup> и Рогнеды<sup>126</sup>, столица большого кня-

---

<sup>123</sup> Преподобный Авраамий был блестящий проповедник, иеромонах Успенского Собора Смоленской кафедры XII–XIII в.

<sup>124</sup> Шляпкин Илья Александрович (1858 – 1918), филолог, палеограф, историк древнерусского искусства. Здесь имеются в виду его работы: *Опись рукописей и книг Археологической комиссии при Псковском губернском статистическом комитете*. Псков, 1879 и *Описание рукописей Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря*. СПб, 1881. – *Примеч. сост.*

<sup>125</sup> Владимир Святославич (ок. 960 – 1015), князь новгородский (970 – 978),

жества. Снитко привез с собой своих двух сыновей-гимназистов и прочел нам лекцию о драме княгини Рогнеды Гориславны, гордой Нормандки<sup>127</sup>, не мирившейся с изменой князя Владимира.

Мы обошли высокое укрепление с бастионами, с волами, рвами и следами колодца в бывшей крепости (вероятно уже Литовского периода, но занявшей место древнего Славянского укрепления).<sup>128</sup> Это укрепление с Преображенской церковью вместо древней, времен Владимира, видно из окон вагона и находится между двумя речками, притоками Свиличи: Княгиньки и Черницы. Быть может, отражение предания о княгине, ставшей черницей под именем Анастасии в

---

князь киевский (978 – 1015), пришедший к власти в Киеве после убийства своего брата Ярополка. Исповедовал язычество, принял крещение в 988 году, объявил христианство государственной религией, вошел в историю как Креститель Руси.

<sup>126</sup> Рогнеда Рогволодовна (ок. 960 – ок. 1000), княжна полоцкая, дочь князя полоцкого Рогволода, одна из жён великого князя киевского Владимира Святославича, мать князя полоцкого Изяслава Владимировича – родоначальника династии Изяславичей Полоцких, великого князя киевского Ярослава Владимировича и первого князя вольнского Всеволода Владимировича. Владимир сначала изнасиловал будущую супругу Рогнеду на глазах её родителей, а затем убил её отца и двух братьев. Рогнеду, просватанную прежде за Ярополка, он насильно взял в жёны.

<sup>127</sup> Неточность: княжна Рогнеда из Полоцка никакого отношения к выходцам из французской провинции Нормандии не имела. По мнению некоторых исследователей правящая в Полоцке династия была варяжского происхождения.

<sup>128</sup> Вокруг Заславля очень много курганов. Смотри раскопки Игнатьева (член Московского Археологического Общества) 1879 года. Предполагается, что здесь были поселения давно исчезнувших с лица земли народов, не родственных позднеейшему населению XX век (теория Лели о финских племенах).

монастыре ею же основанном. На месте его, у минской дороги, на распаханном поле, указывают могилу Рогнеды. Случайно на этом месте в 60-х годах был открыт склеп и в нем богатый гроб, но его немедленно засыпали. Старожилы указывают невдалеке от местечка высохшее озеро Рогнедь, рассказывают, что между двумя церквями местечка стоял дворец князя Владимира, словом, здесь Нестор<sup>129</sup>, здесь русская История и великолепный дворец Сапег, владельцев Изяславля с XVII века, не заглушает, конечно, кратких воспоминаний о Владимире и Рогнеде. В последнее время во дворце Сапег устроился русский помещик Хоментовский, и мы с Витей бесконечно жалели, что только года два тому назад он за бесценно продал это имение Протасевичу. Хоментовские были родные Зузиным, и Екатерина Александровна Попова много рассказывала про это имение, постоянно проводя у них лето. Но мы слушали тогда рассеянно, еще понятия не имея о Минской губернии, и знали о ней постольку, поскольку гласит учебник географии!

Леля с возрастающим интересом откликался на все эти письма. Мы уговаривали и его принять участие в какой-либо экскурсии и соблазняли поездкой в Пинский уезд, особенно мало исследованный и древний край. Леля обещал приехать на Рождество. «С удовольствием думаю о свидании с вами

---

<sup>129</sup> Нестор (1056 – 1114), монах Киево-Печерского монастыря, летописец, агиограф конца XI – начала XII вв., автор «Повести временных лет». Анализ летописания, в том числе Несторовой летописи посвящены одни из важнейших трудов А. А. Шахматова.

и предстоящей поездке. Меня очень соблазняет перспектива съездить в Пинский уезд, но не знаю, будет ли время, хватит ли денег? Я теперь работаю всецело над языком, и мне весьма было бы важно прослушать хорошую белорусскую речь. Здесь трудно найти белоруса, не тронутого городской культурой и не изломавшего свой язык. Мечтаю завести хороший фонограф, который перенимал бы речь». <sup>130</sup>

Снитко, в ожидании приезда Лели, выбрал ему с этой целью два пункта: в Борисовском уезде, если Леля будет спешить, и в Пинском, у полешуков, если у него будет время на поездку в край, уже поистине не тронутый культурой. Леля обрадовал нас своим приездом в самый Сочельник. Он привез с собой фонограф, познакомился со всем нашим Археологическим Обществом и, проведя с нами первые дни праздников, по совету Снитко собрался съездить в ближайший пункт, в Борисовский уезд. Только 30 декабря вечером он вернулся к нам из своей поездки. Совершенно случайно, в одной из записных его книжечек, сохранилась запись, которую он начал вести в дороге, и, хотя она ограничивается первыми двумя днями, я приведу ее здесь в память об этой поездке.

«27 декабря 1908 года я выехал из Минска. В 12 часов 20 минут дня скорым поездом на станцию Приямино (Бояры) М. Бр. ж/д. <sup>131</sup> В три часа я был в Приямине, первая стан-

---

<sup>130</sup> Письмо А. А. от 22.11.1908.

<sup>131</sup> Минское отделение Белорусской железной дороги. – *Примеч. сост.*

ция за Борисовым. Нанял единственного ямщика (из деревни Млехова) за 1 рубль 30 копеек до станции Вилятич. Парень оказался мне сначала придурковатым; если бы не его товарищ, он бы и не поехал и не сумел бы завязать моих многочисленных вещей. Дорога (12 верст) на Бояры и Смотки; от Бояр идет некоторое время прекрасным сосновым бором. В Смотках встретили священника Велятичского, к которому я имел рекомендацию; он ехал, как оказалось, в Начу, в гости. Я его не остановил и решил обратиться к учителю. Все-таки имел в виду подъехать к дому священника: узнав, что его нет, попал к училищу. Подъезжая, спросил, дома ли учитель? Ответили, что гуляет. И в это время подошел учитель с женой. Оба молодые и симпатичные. Сразу предложили остановиться у них. Я подал свою визитную карточку, потом, для большого спокойствия, передал учителю свой паспорт. Скоро появился самовар. Учитель понял, что мне нужно, начал хлопотать, отыскивая людей, но безрезультатно. Был уже вечер: этим объясняется невозможность добиться кого-нибудь; кроме того, школьный сторож Данила довольно мешковатый человек. Пришлось провести вечер втроем. Яков Константинович Козелл и Софья Васильевна только что в октябре поженились, она полька из Несвежа, приняла православие здесь, в Смотках, в октябре тайно от родителей. Местный священник Александр Савич не согласился ни приобщать ее по православию, ни венчать за недостаточностью документов, просроченный паспорт: ему два-

дцать, ей девятнадцать лет. Она интересная и живая, он добрый малый, кажется, не очень способный. Жалование 300, а с вычетами 22 рубля в месяц. Его мечта попасть в учительский институт. К тому же тяжелые условия здесь, квартира холодная и сырая, а школа совсем не снабжена учебными пособиями, на ученика приходится по 15 копеек, нет учебников, бумаги, перьев. Удивительно все в беспризорном виде, и никому-то нет об этом заботы. Вечер мы провели в рассматривании фонографа, потом он стал читать по-белорусски привезенную мною брошюрку Гэдили Оржешко; выяснились особенности его говора. Он их и наговорил в фонограф: различие [пропуск] и *б*, произношение *о* в [словах] *стол*, *пон*, *посев* (между *о* и *у*) и некоторые другие; поздно легли спать. Ночь была тревожная. Очень уж было жарко натоплено.

Утром я начал беспокоиться, что дело не пойдет; пошли прогуляться с Я. К. Он встретил Степана Агата, местного пьяницу и забулдыгу, и поручил ему привести кого-нибудь. В это время в школу сошло много народу, ожидавшегося обедни (после заутрени). Мы вышли к ним, разговорились. Я просил пригласить одного из стариков. Он и наговорил первый валик. С ним пришел другой. Комната стала понемногу наполняться. Скоро народу оказалось столько, что уже не было отбоя. 2 1/2 часа был перерыв для обеда; пришел один ученик лесного училища (в Рудне) Александр Филиппович, довольно приятный малый. Он тоже обедал. По-

сле обеда сошелся опять народ слушать «представление», и всякий охотно подставлял голос. Валиков скоро было очень немного, осталось всего два чистых, и я прекратил записи. С 7 часов до 10 мы втроем проверяли сделанные записи. Опять сошлось народу порядочно, частью для проверки спетого (одна женщина спела так, что ничего из слов нельзя было разобрать). Пришел со скандалом Степан, которому я за день определил 75 копеек, с требованием денег. Учителю пришлось его выгнать. Вечером пили чай с колбасой. В 12 легли спать, наняв с вечера подводу в Ухвалу за 1 рубль 50 копеек (25 верст), Прокопия Яковлевича Ильяшенко. Дорога на Ухвалу – Горонно на Бобре».

На этом прерывается запись Лели, и, в дополнение ее, я приведу еще письмо его к Шунечке: «Я был только в двух местах, но очень удачно. Уже в первом месте все 20 валиков были заполнены. В следующем месте я уже должен был ограничиться простым записыванием карандашом. При свидании расскажу разные подробности и знакомства. От станции железной дороги я был сначала в 15 верстах, а потом в 40 верстах. Если бы было время, я, конечно, пробыл в поездке дней 10-12. Путешествие стоило сравнительно недорого, хотя и расплачивался хорошо с крестьянами, рассказывавшими мне сказки и певшими мне много песен. Вчера вечером не мог удержаться от того, чтобы не распечатать свои ящики и проверить записи (некоторые из них). Боялся, что все разбито по ухабам. Но все оказалось цело. Ты понимаешь, как

я доволен и как наслаждаюсь достигнутыми результатами. И вообще я вынес очень много из своей кратковременной поездки, т. к. был в самом тесном общении с крестьянами. Беднота и глушь страшная. Я привез образец хлеба, который они едят. Это что-то ужасающее, доведу его до Петербурга». <sup>132</sup>

Действительно эта краюха черного хлеба напоминала образцы «хлеба голодающих», но о том потому и кричали у нас, а здесь это было обычным явлением, по-видимому, никого не удивлявшее. Да и вся жизнь этой «темноты» соответствовала такому хлебу! Даже в школах, которые все же там насаждались (хотя и очень туго), ученики учились писать, лежа на полу, на животе, за неимением парт и скамеек, несмотря на то что лесу вокруг было сколько угодно. Я бы добавила в моей «Истории с географией», что Велятичи – очень древнее поселение в земле Кривичей: «В нем еще много сохранилось песен и преданий о древних князьях и татарских битвах, много курганов «волотовок или волоток» – древние земляные копцы, которые заменяли некогда у славян нынешние верстовые столбы». <sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> А. А. 31.12.1908.

<sup>133</sup> Россия Семенова, том IX. Имеется в виду: Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под ред. В. П. Семенова, СПб.: А. Ф. Девриен, 1899-1914. Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белоруссия (Смоленская, Могилевская, Витебская и Минская губ.), 1905. – *Примеч. сост.*

## Глава 4. Январь 1909. Шамордино

Леля остался с нами встречать Новый Год. Встретили мы его в тесном семейном кругу и в «первобытном состоянии», шутили мы, потому что Наташа и Витя (наши благоприобретенные половинки) были в отсутствии. Наташа с детьми в Академии, а Витя у своих родителей в Петергофе. Первый день Нового Года мы с Лелей, помнится, шатались по городу в санках в поисках татарского муллы, которого нигде не нашли. Лелю интересовали литовские татары, поселенные в Минской губернии Витовтом. Они, хотя и сохраняли свою религию и обычай, но совсем забыли свой язык. Это удивляло Лелю, и ему хотелось узнать о них что-либо у муллы.

На другой день мы к двум часам прибыли в археологический музей к заседанию, в котором Лелю просили быть председателем. Здесь он познакомился и с прочими членами Общества (со Снитко и Скрынченко он встретился у нас еще в сочельник): Пановым, Смородским, Власовым (брат М. Е. Снитко), Луцкевичем и некоторыми учителями. Были приглашены, как почетные гости, Тата́ и братья Чернявские, большие любители и знатоки старины. Подробно был осмотрен музей, собранные предметы богослужения, кресты, монеты, перстни и пр. Лелю, конечно, более всего интересовали рукописи: латинские, польские, славянские, русские. Он давал советы и обещал содействие Академии наук, субси-

дии на столь необходимые экскурсии по губернии. Вечером некоторые из «археологов», очень понравившиеся Леле, зашли к нам на чай: пить и продолжать начатые в музее беседы. Леле вообще очень понравилось у нас в Минске и в «Гарни». Был он доволен также настроением Тети; молодая душой, она уже начинала привыкать к Минску, а Урванцева, которая так «цапала» Витю, прозывая его капризником, привязалась к ней, как к родной матери, уверяла она. Теперь и сестра Оленька перестала скучать о Петербурге. Она серьезно увлекалась писанием портретов масляными красками под руководством своего учителя Крюгера, который сумел найти в ней глубоко зарытый, настоящий талант: она превосходно схватывала сходство.

Чувствовалось, что Леля с радостью пробыл бы у нас еще хоть несколько дней, но долг – прежде всего! «Две недели здесь в Минске, – уговаривала я его, – куда были бы полезнее твоей науке, чем суетливая жизнь, верчение белки в колесе». Леля соглашался со мной, но как было вдруг уехать среди года в командировку, когда миллион обязательств, заседаний и собраний не давали ему вздохнуть, дня покойно провести над его научными трудами? А Наташа? Но особенно жалели мы все, что Леля, торопясь в Петербург, ограничился одним Борисовским уездом. О Пинском уезде нечего было и мечтать! А между тем, сколько интересного для него представила бы именно Пинщина! Огражденные болотами от всего света, пинчуки никого не знают из внешнего мира. Старый

еврей заменяет им администрацию и судью. В некоторые селения можно пробраться только зимой, волчьими тропами, когда болота замерзают, и тогда при виде незнакомца все население прячется и разбегается, некоторые деревушки даже не нанесены на карту, и местное начальство не знает об их существовании. В таких Богом забытых, совсем диких углах, еще думают, что ныне царствует какой-то король Казимир, и вряд ли отдадут себе отчет, под чьим они владением: русским или польским. Об этом рассказывал нам много интересного один из земских начальников Пинского уезда «Шамборанчик».

Так называл Витя графа де Шамборана<sup>134</sup>, своего товарища по корпусу, очень им любимого. Он познакомил меня с ним еще потому, главным образом, что Шамборан, узнав, что мы продали Пензенское имение, горячо уговаривал взамен другое, в западном крае, где климат и условия хозяйства гораздо благоприятнее, нежели в восточных губерниях. Витя только что 1 декабря был выбран почетным мировым судьей по Саратовскому уезду. Он не мог скрыть своей радости: такое внимание его саратовских друзей особенно трогало его, но эти выборы как раз совпали с продажей Липягов, т. е. лишение ценза, а должность почетного мирового судьи требовала ценза не менее 400 десятин (безразлично, в какой губернии). Мне жаль было видеть огорчение Вити, потому что на мое имя оставалось пока немного леса в Саратовском

---

<sup>134</sup> Обедневший и обрусевший потомок графов Шамборов.

уезде, но то был лесной участок Тетушки, назначенный при разделе к продаже.

«Пустяжи! – утешал тогда Шамборанчик, случайно заехав к нам. – Сколько угодно можете купить у нас болот и песков из-под леса. По 75 копеек за десятину – вот вам и цена!» О такой расценке, даже болот, мы никогда еще не слыхали, но по этому случаю у нас с Шамборанчиком начались разговоры и переписка о возможности купить вообще... не болото, а нечто более существенное: лес, луга.

Сам он за небольшие деньги купил себе такое имение, которое, разработанное и приведенное им в культурный вид, уже являлось ценным достоянием его детей. И Шамборан обещал нам прислать опись нескольких подобных имений, продаваемых на очень льготных условиях у него в соседстве. По этому поводу мы говорили и с Лелей, но он совсем не одобрял покупки имения в Пинском уезде. «Поедем, посмотрим», – уговаривала я его собраться к пинчукам. Шамборанчик обещал разыскать какого-то любителя старинных песен, который набрал их по самым глухим углам Полесья, но Лелю ожидали экстренные дела в Академии: делать было нечего, приходилось покориться.

Третьего января была у нас панихида о дяде<sup>135</sup>, а затем Леля стал уже собираться домой. По дороге предстояло заехать в имение к Снитко, который взял с нас слово приехать к нему в Родошковици, уже Виленской губернии, всего в [40]

---

<sup>135</sup> Алексей Алексеевич Шахматов, брат отца, муж тетушки Ольги Николаевны.

верстах от Минска.

Мы с Лелей провели там вечер, а также и следующий день. Деревенская жизнь Андрея Константиновича Снитко, его милая жена, трое детей, весь склад их жизни – простой, доброжелательный ко всему окружающему – очень нам понравился. Такие люди, такая обстановка были Леле именно по душе. Не забыты были и «говоры». Во дворе доживал древний столетний старик Базиль. Леля со Снитко ходили слушать его рассказы. Затем был пущен фонограф, и Леля, видимо, очень довольный, слушал свои валики, усевшись со всей семьей у кровати болевшей десятилетней дочки Снитко. Жаль было и уезжать, и расставаться с Лелей! Как бы он окреп, освежился, если бы мог прожить еще недельки с две в этом столь интересовавшем его крае, среди людей, преданных его изучению!

Все его интересовало, все ему казалось нужным, он вообще был совершенно не способен относиться к чему-либо поверхностно, равнодушно, рассеянно. Тем более к тому, что за сердце его хватало, что было ему так дорого.

Снитко проводил Лелю до Вильны, чтобы между поездками показать ему знаменитый Виленский архив (детище знатока литовских древностей И. Я. Спрогиса), где сосредоточены миллионы актов, неопенимых в научном отношении, актов еще не разобранных. Только недавно вышел первый выпуск описи этих документов виленского архива, русских актов XVI столетия, написанных кириллицею, но неразобран-

ных документов оставалось еще свыше двухсот тысяч!

Я очень жалела, что не поехала с Лелей в Вильну, но и меня ожидало дома свое, хотя и очень маленькое, колесо: Тетя с Оленькой и Витя.

Пробыв праздники у родных в Петергофе, Витя тоже воротился на службу в Минск, а приехать домой и не застать дома жены грозило по-прежнему семейной драмой! Немедленно начинал трещать телефон, и все наши друзья узнавали, что Витя разыскивает меня по городу! Всем известна истина, что женщина, уступив в малом, всегда сумеет добиться своего в большом, в особенности с таким горячкой, как Витя. И поэтому, несмотря на бурю Вити с Урванцевой, я продолжала принимать живейшее участие в делах Татá, которая уже заканчивала постройку приюта. Разумеется, я не ездила с ней по домам с просьбами «на приют», я даже ни разу не была на заседании правления приюта. Обыкновенно свои «собственные дела» с Татá я справляла по утрам, когда Витя был в губернском присутствии. Если же изредка Татá и заезжала за мной, чтобы проехать «на вечернюю молитву в приют», Витя на это несколько уже не претендовал, в особенности, если об этом не докладывалось Урванцевой. Эта насмешливая дама и ее мнение, которое всегда передавалось Эрдели, служило всегда каким-то пугалом для Вити.

Граф Шамборан сдержал слово и в январе прислал целую кипу описей имений из своего уезда, по реке Припяти, Пине, Шельде, выражая готовность помочь нам в их осмотре.

К некоторым описям были приложены копии с планов, словом, все было обставлено как следует быть. Только мы, рассматривая описи, изучая планы, никак не могли остановиться ни на одном из них. В одном имении крестьянские наделы были вкраплены по всем полям, точно оспины по рябому лицу: сколько потрав и столкновений грозила такая рябина. Другое лежало в глуши, далеко от железной дороги, третье было исключительно лесное. В нем не было даже сторожки, чтоб приютить лесника и т. д. При этом почти в каждом имении был сервитут<sup>136</sup>. Слово «сервитут» мне стало понятным только тогда, когда Кологривов мне объяснил: «Вы имеете шубу, но носить ее имеет право другой, вас не спрашивая. Вот что значит сервитутное владение». Такое объяснение мне легче было усвоить, нежели ссылки Вити на какие-то законы землевладения в западном крае. Но мы слышали, что имение с сервитутом было что-то такое, чего надо, безусловно, избегать. Далее были имения с определенными доходами, казавшимися нам явно дутыми, с доходами «в будущем», а также вовсе без доходов и без хозяйства, какие-то огромные латифундии с полгосударства: болото, мелколесье. Они продавались для чего-то за малые деньги, с «большими комбинациями»: банк, разорение, закладные и пр. И всего этого мы ужасно опасались. Нам хотелось купить что-либо только в пределах наших двадцати тысяч. Витя был ар-

---

<sup>136</sup> Право ограниченного пользования чужим земельным участком, например, для проезда, прохода и т. д. – *Примеч. ред.*

хиосторожен. Поэтому описи Шамборана были ему отосланы обратно.

В каждом отеле, гостинице, по крайней мере, в Минске, имеется свой комиссионер, непременно еврей. Комиссионер отеля «Гарни» не мог не узнать, и очень скоро, что мы ищем купить имение. Тогда каждое утро в дверях у нас слышался скромный «стук-стук», и вместе с газетой нам подавались планы и описи всевозможных имений Минской губернии. После службы Вити, или вечером, мы рассматривали эти предложения. При этом со стола не сходили географические и железнодорожные карты. Мы знакомились с положением, местностью и с расстоянием от Минска прежде всего. Не спускали глаз мы и с Семенова (Россия т. IX), досконально изучая по нему географию Минской губернии. Иногда, для разъяснения, вызывался и сам комиссионер. Тогда с ним начинались географические беседы, настолько увлекавшие нас, что мы опаздывали на вечер к Татá или вовсе предпочитали эти беседы театру или кинематографу, сидя уютно у нашего стола, заваленного книгами и картами. Тетушку даже начала беспокоить такая односторонность наших интересов, она была уверена, что нас «завлекут» куда-то, хотя мы убеждали ее, что нас «не завлекут», а мы только плохо учились в свое время географии и что теперь проходим ее сызнова. А комиссионеры (их было уже не один) были деликатны, терпеливы и каждый день приносили нам что-нибудь новое. Кажалось, что вся губерния продавалась! Но мы никак не могли

ни на чем остановиться.

Сложная борьба поднималась в душе. Так грустно было жить вдали от своих! Но согласовать службу Вити с Губаревской не приходилось. Мы все ждали, надеялись и старались не привязываться к Минску, но время шло, три года много значило, и жить постоянно в ожидании, *sur la branche*<sup>137</sup> становилось мудрено, хотелось иметь свой угол и что-нибудь определенное. И вот однажды в двадцатых числах января Витя вернулся со службы очень оживленный. Ему предложили имение: восемнадцать тысяч наличными и пятнадцать тысяч Дворянскому банку, всего тридцать три тысячи за двести двадцать десятин, но в Калужской губернии. План и опись ему вручил Родзевич<sup>138</sup>, лично, без комиссионера.

«Это случай, необыкновенный случай!» – уверял Родзевич. Продавалось имение Рудакова, его брата. Бывший земский начальник, он стал слепнуть, был вынужден выйти в отставку и поселиться с женой в имении, которое купил в Калужской губернии на Оке. Там прожили они всего год. Слепота шла прогрессивно, сидеть в деревне стало нестерпимо, нужно было ехать лечиться, и они решили продать Будаково срочно и дешево. Ольга Козьминишна тоже вечером зашла к нам по этому вопросу, расхваливала имение сестры, луга на Оке и дивный климат русской Ментоны.

«Рискнем взглянуть, – решили мы с Витей, – уже одно то,

---

<sup>137</sup> Здесь: в подвешенном состоянии (фр).

<sup>138</sup> Председатель губернской управы.

что на полдороге в Губаревку, и нашим ближе будет к нам заезжать». Все представления об имении у нас еще были тесно связаны с возможностью заполучить к себе нашу дорогую семью или быть к ним хоть чуточку ближе. Витя не мог отлучиться. Тетя с Оленькой благословили меня, и я поехала одна – смотреть.

Привожу здесь полностью письмо мое к Леле по этому поводу.

«24 января 1909 года. Милый Леля. Вот три дня, что мысленно говорю с тобой, ищу твоего одобрения, сочувствия, и мучаюсь, что не имею его наяву, т. е. что не могу с тобой посоветоваться! Дело в том, что наше дело (т. е. проданного имения) направлено 20 января в Петербург и до решения взять именно 6 %-е обязательство<sup>139</sup> у меня страшное сомнение, что делать с деньгами? Самое благоразумное, говорят, отдать деньги под закладную, но примеры стольких разорений из-за денег, отданных, а закладные пугают меня. Тетя же просто отплевывается принципиально. Витя тоже трясется при мысли потерять. “Чего же лучше 6 % обязательства?” – скажешь ты. Но ведь и они, говорят, совсем ненадежные. И во всяком случае, пять лет нам будут выдавать их обратно по 1/10 капитала. Ну что мы будем тогда делать с капиталом в две тысячи рублей? Все это хорошо для других, кто сумеет их сберечь, а с нашими характерами, да мы их

---

<sup>139</sup> Крестьянский банк расплачивался 6 % именными обязательствами. Их можно было менять, но с большой потерей, не менее 20 %.

проживем и сойдем на нет. Как не выручить друзей, родных, как не купить себе, наконец, обстановку? А там приключится болезнь, необходимость съездить за границу. Верь мне, мы останемся ни с чем. Единственное верное помещение денег – это земля. Очень меня проучил Саратовский климат и, если решаться купить земли, то не в таком климате. В Минской и Виленской губерниях? Это так далеко от вас: все чувства мои с вами, в Губаревке! А если этого нельзя, так все же ближе к вам, на полпути. Не суди меня строго. Не думай также, что мною руководит жадность. Покойно, без затрат и хлопот, обязательно съедающих половину дохода, получать тысячу рублей плюсом к жалованию Вити, вполне нам достаточно, но:

1. Отказаться от въевшейся в меня привычки хозяйничать то же для меня, что у тебя отнять книги и научные занятия.
2. Иметь клочок на земле – право, высшее благо.
3. Витя может заболеть, лишиться службы. Сознание, что есть куда уйти, работать никому не в тягость – большое утешение.
4. Для моей личной жизни – это смысл, цель, интерес.

Я остановилась в Калуге у Поповых<sup>140</sup>, Нонна Козьминишна Родзевич приехала за мной в санках. Мы проехали девять верст по льду, Окой. Я провела у них сутки, но с карандашом

---

<sup>140</sup> Поповы – наши родственники по Зузиным (сестра нашего отца за Н. А. Зузиным; сестра его – Ек. А. за А. В. Поповым. Сын их Ал. Алекс. Попов в то время был прокурором в Калуге).

в руке рассчитала, что доходность совсем не соответствует затраченному капиталу. Чтобы получать доход, надо завести коров, посадить еще не менее пяти тысяч и, главное, безвыездно сидеть там. Это дело нам не подходящее.

Утром в местной газете я прочла, что в Калуге есть «Союз доверия», покупающий именные 6 % обязательства, не котируемые на бирже. Вернувшись из Будаково в Калугу, я поехала туда. Разговорилась с директором правления. Он указал мне еще два имения, продаваемых за полцены: одно в четырех верстах от Воротынска, другое близ Козельска. Перебрав всю Калужскую губернию, показал все условия. Но особенно хвалил он первое: небольшое, Шамордино, всего в сто тридцать пять десятин, даже на ценз не хватит. Но хозяйство на полном ходу. Еду в Воротынск, всего час езды от Калуги по железной дороге».

Затем следовало письмо от 26 января до поездки в Воротынск.

«Какой мирной, покойной, светлой кажется мне Калужская губерния, далеко от тревог Северо-Западного края, далеко от духа гешефтов, борьбы национальностей и партий! Ах, Леля, как здесь хорошо! Начитавшись Зотова (князя Черниговские) у меня голова кружится: Воротынск, Козельск, Перемышль, Одоевск – эти уездные и заштатные города на расстоянии всего десятка верст друг от друга – все это исторические места.

Напиши мне твое мнение, вырази сочувствие! Быть мо-

жет, мы ничего и не купим, но напиши, что я права, вкладывая деньги в землю».

Письмо от 26 января после поездки в Воротынк.

«Имение Шамордино – верх совершенства! Владелец – итальянец, миллионер Келлат, после смерти любимой жены переехал в Москву. Прелестная усадьба. Хозяйство на полном ходу. При этом прелестный новый дом, с высокими комнатами и балконом с колоннами в итальянском стиле, центральное отопление, мраморная ванна и все удобства, прекрасно меблированный. Все хозяйство ведет простой добродушный старик, крестьянин Владимирской губернии с женой. 20 коров: молоко ежедневно отправляется поездом в Москву по 1 рублю 15 копеек за ведро; 12 лошадей. Небольшой посев, огород, покосы на заливных лугах по реке Выси. Владелец хочет, чтобы непременно «женщина» продолжала хозяйство его любимой жены. Он вложил в имение 80 тысяч, а продает за 40: 15 тысяч дает Дворянский банк, 15 наличными и 10 тысяч оставляется в закладной на года, из 5 % годовых. Чудо, как хорошо! В питомнике 10 тысяч яблонек. Пришло тебе весной трехлетних посадков для молодого сада. Заранее зову Шунечку с детьми: небольшой крюк по дороге в Губаревку – 10 комнат, есть где разместиться».

Увы! Мое восторженное письмо несколько не действовало на Лелю. В ответ он облил меня холодной водой: 28 января 1909 года: «Твое письмо меня поразило. Я решительно отказываюсь понять ряд твоих чувствований. В Минске

ты так недавно говорила, что тебе больно расставаться с мужем, что в Губаревку ты попадешь поэтому не раньше июля, а теперь затеваешь покупку имения; если бы даже оно находилось за 2-3 часа от Минска, я не понял бы, как ты устраивалась бы с хозяйством. Чтобы оно шло успешно, надо сидеть на месте: превратить имение в арендную статью – это не хозяйство. Я вижу, что действительно, тяготение к земле перевешивает в тебе благоразумие, вложить деньги в землю, деньги, дающие 6 %, я считаю в высшей степени неблагоразумным. Коли ты думаешь, что вкладывать деньги не в землю, а в предстоящий тебе на земле труд, то мне не ясно, почему тебе не хозяйничать в Губаревке, не положить деньги туда? Считая выходом, для всех нас приемлемым, создание таких условий, при которых ты могла бы хозяйничать в Губаревке, как у себя в имении, я предложил тебе совладение Губаревкой; приобретение совладения стоило бы тебе столько, сколько поездка в Калужскую губернию; а настоящие деньги ты могла бы вложить в то или иное дело – конный завод, посев, сад т. д. Но, разумеется, это дело рискованное: надо сидеть на месте, чтобы не прогореть и не потерять деньги, сидеть, по крайней мере, рабочее время. Но не то же ли сидение ты будешь иметь в виду, купив имение в Калуге? В Минске я не настаивал на осуществлении плана совладений, о хозяйстве в Губаревке, поняв, как тяжело тебе оставлять Виктора Адамовича. Но теперь, ввиду предстоящего решения и страшной обузы, которую ты на себя примешь, заведя

еще новый угол, куда тебя будет тянуть, я возобновляю наши переговоры. При моей комбинации не страшна ни болезнь, ни старость, ни необходимость уйти со службы или уехать за границу. Губаревка будет стоять и радоваться, что вы в ней, или ждать вашего возвращения, украшаться твоими заботами или временно замирать и запускаться. Очень советую не рисковать деньгами, взять 6 % обязательство, а в пределах одной-двух тысяч завести что-нибудь в Губаревке. При первой такой затрате я сочту долгом своим настоять на совладении. Ты могла видеть из прежних моих писем, что я и даже Шунечка – мы охотно начали бы хозяйничать в Губаревке. Проверив себя, вижу, что это вызвано главным образом тем, что Губаревка заброшена, что в ней никто не хозяйничает. Если опять заведется хорошая хозяйская рука, мы будем радоваться»<sup>141</sup> ... И прочее.

Я отвечала ему 29 января: «Ты не можешь представить, как мне жалко *te donner des soucis*<sup>142</sup>, тревожить тебя, зная твою впечатлительность! Будь уверен, что я ничего не решу без полного согласия твоего и Тети с Оленькой. Я хочу только пока ответить тебе по пунктам на все твои доводы и попробовать убедить тебя в моей точке зрения, т. к. пока еще не могу с тобой согласиться:

1) Мое тяготение к земле действительно превышает благоразумия. Но прими в расчет: с одиннадцатилетнего возраста

---

<sup>141</sup> Письмо А. А. от 28.1.1909.

<sup>142</sup> Доставлять вам беспокойство (фр.).

я тесно с нею связана, и вся жизнь моя прошла в занятии хозяйством. Я же бросила с годами музыку, чтение, рисование, потому что делать что-либо без увлечения я не умею, я превыше всего увлекаюсь хозяйством. Теперь же мне предстоит жить зиму и лето в городе, чтобы не бросать Витю на четыре месяца, как в этом году. Разлуки для нас становятся все невыносимее, да и поездки по двое суток в вагоне – все тягостнее. Для того мы принимали все меры, чтобы вернуться в Саратов, но ценз (лесной) Вити еле хватит ему еще на полгода. Когда лес будет продан, а без ценза даже в гласные не пройдешь. Перспектива вечно жить в Минске без движения, тоже не заманчива, потому что служебная жизнь в Минске не безопасна...

Следовало объяснение, почему это казалось мне небезопасным: был поднят вопрос о введении земской реформы в западном крае, и тогда Витя, как не местный и недавний, назначенный из Петербурга, рисковал остаться не при чем, и мог еще, службы ради, угодить каким-нибудь судьей или уездным начальником «по назначению» в неземскую губернию – в Сибирь! Тогда, заключала я, даже земский начальник в Калужской губернии, но у себя в имении – право лучше!

2) Взять 6 % обязательство далеко не спасает меня от растраты капитала. Любой агент купит 6 % обязательство с вписанным именем, только с потерей 15-20 %. Есть моменты в жизни, когда 500-600 рублей спасают жизнь, здоровье, репу-

тацию и пр. Имея землю, можно их взять без ущерба капитала (продать лес, инвентарь, урожай), а имея капитал, берешь из капитала и без возврата.

3) Вполне естественно желание каждой женщины иметь свое гнездышко, свой дом! Надо все наше терпение, чтобы три года благополучно прожить в гостинице. А квартиру завести, надо ее меблировать. Это стоит денег и придется брать из капитала, а 20 тысяч не великий капитал.

4) Прося продать мне Губаревку, я действительно была безумно безрассудна, и ты, спасибо, остановил меня, но ища купить имение, я не безрассудно поступаю. Мое замужество стоило дорого, но я ни минуты об этом не жалею. Хозяйство и неурожайные годы стоило тоже дорого: пришлось простить крестьянам 12 тысяч. Поэтому продолжать вести хозяйство в Губаревке – вот что безрассудно! При глупом сентиментальном порыве купить Губаревку я шла заведомо на полное отсутствие дохода, я только хотела... жить с вами, жить в Губаревке! Но разум должен мне напомнить, что я получила в Губаревке за эти 15 лет? Уроки терпения, лишения, выдержки...

Нет, милый Леля, вспомни, как тетя Люба подарила мне 12 коров. Бескормица от засухи заставила меня их продать, а затем за неимением доходов (урожай был спален солнцем), пришлось прожить и эти вырученные за них деньги! Еще вложить полторы тысячи на горькие опыты, вот где безрассудство! Губаревка – дивная дача, чудное, милое родовое

гнездо, но Бог тебя надоумил извлечь из нее свой капитал. Новые затраты на сады, посевы, коневодство более, чем рискованны. Я совсем не скромничаю: я не могу считать, что я плохо работала. Я сидела 15 лет, исключительно посвятив себя хозяйству зиму и лето, но не могла побороть стихии. жгучего солнца, восточных ветров-сухменей, в два часа времени убивающих цвет хлебов и плодовых деревьев. Почему же теперь, когда я даже не могу больше круглый год жить в Губаревке, не могу в нее вкладывать всю себя, теперь я смогу надеяться на лучшее? А уж если Витя решится ломать карьеру свою и пойдет в земские начальники в новом имении, это совсем другое, чем вернуться земским начальником в Саратов, зажить совладельцем в Губаревке и продолжать разоряться на сельском хозяйстве. К тому же у тебя растут детки... И ты допускаешь, что им нельзя будет хозяйничать в Губаревке из-за тети Жени? А если у маленькой Олечки будут те же вкусы, как у меня? Ведь на 15 десятин пашни не раскачешься. Нет, дорогой Леля, я тесно связана с тобой, с Губаревкой, но совладения не надо, а я буду искать купить что-либо, возможно, к вам ближе и, конечно, возможно осторожнее. Меня это не оторвет от семьи, но даст почву под ногами, возможность и с десятью тысячами стать независимой и не бояться, что деньги эти у нас растают в руках. Как ни тяжелы были годы с 1905 гг., ведь все помещики Саратовской и Пензенской губерний разорены, даже крестьяне выдержали только потому, что три года абсолютно никому

ничего не платили, и, напротив, получали миллионы от правительства на продовольствие и прокормление скота, а мы в эти годы засухи и неурожая не получали аренды и дохода, платили банкам проценты и пени без конца, всякие повинности, входили в долги и по ним еще платили проценты. И все-таки, выручили, теперь на каждого из нас по 22 тысячи. Правда, путем лишений, путем безвыездной жизни в деревне. Но как ни тяжела была эта жизнь, я так сжилась с ней, что теперь вдруг жить безвыездно в городе, лето проводить на даче, это то же, что рыбе очутиться на песчаном берегу! Мы все делали, чтобы не удаляться от вас, мы три года рвались в Саратов, но ты сам видишь, что ничего не выходит».

Этому письму брату было труднее отпарировать. Он отвечал 2 февраля:

«Конечно, ты в известном смысле права. Но мне не так легко моментально становиться на новые точки зрения. Виктор Адамович хорошо служит и стремится идти по службе дальше; тот или иной случай может ему представить место и вице-губернатора. Было бы по-моему неосторожно располагать жизнью так, чтобы оказаться в необходимости менять теперь службу, попасть в земские начальники, а это, конечно, неизбежно при приобретении земельного участка: иначе он может оказаться тяжелым, разорительным бременем, потому что только труд, упорный, личный труд, может сделать имение доходным.

С другой стороны, в Саратовской губернии далеко еще не

все безнадежно. При помощи тех или иных связей можно попасть в уездные начальники, а такое место делает почти невозможным удержать имение в какой-нибудь Калужской губернии.

Я сделал бы отсюда вывод, что лучше взять 6 % обязательства и пользоваться доходами с них, а другой вывод – покупка имения – так чреват, мне кажется, последствиями, в особенности по службе Виктора Адамовича, что надо думать и думать... Впрочем, я уверен, что недостаточно взвешиваю все привходящие соображения, хотя бы опасность пребывания в Минске. Тебе с Виктором Адамовичем виднее, а мои рассуждения представляются вам безжизненными и бессильными. Как всегда придется признать человеку, стоящему в стороне, – совершившийся факт и с ним примириться».

В приписке Леля добавляет: «Шунечка советует тебе подумать о том, чем вы будете жить, если у вас окажется еще земельный долг на шее. Вспомни, как недостаточно жалования земского начальника, сколько траты у него на разъезды, канцелярию, проживание на съездах и т. д. Шунечка находит, что гораздо лучше иметь тысячу верных, и думает, что было бы неосторожно закабалиться в деревне».

«В Шамордине не страшно», – думалось не только мне, но и Вите, который был почти готов сменить свое Губернское присутствие на земского начальника в Перемышле! Но дальше огорчать Лелю Шамординым мы не решились. Уже он

поднял и Шунечку для большей убедительности... Ну, и Бог с ним, с Шамординым. После того в «Союз доверия» в ответ на вновь присланные предложения из Калужской и Смоленской губерний был послан решительный отказ и был поставлен крест на все разговоры о покупке имения.

## Глава 5. Февраль 1909. Кучково и Хоростень

Впрочем, это не помешало нам, несколько дней спустя, ранним темным утром очутиться в Вильне по делу покупки имения. Теперь искушение явилось из Петербурга. Урванцов – артист и драматический писатель, брат Сергея Николаевича – прислал из Петербурга своего комиссионера Рабинова с самой убедительной просьбой к Сергею Николаевичу направить его к своим друзьям и знакомым с предложением купить «Федово-Кучково», имение в Новгородской губернии. Сергей Николаевич первым делом прислал к нам жену. Надежда Николаевна горячо стала нам доказывать, что с такой рекомендацией мы можем, закрыв глаза, довериться Рабинову и тому делу, которое он нам предложит. Брат их в чем-то очень серьезном выручил Рабинова и поэтому, ради него и его рекомендации, мы совершенно гарантированы от всякого обмана. Но Рабинов предлагал что-то совсем неподобающее: громадное лесное имение в Боровичском уезде, в тридцати верстах от железной дороги за двести сорок тысяч. Это совсем не соответствовало ни нашим планам, ни средствам. Мы решительно отказались. Тогда вступилась сестра Оленька: «Это вовсе не имение, чтобы там сидеть, – горячилась она, – это редкий счастливый случай увеличить наше небольшое состояние». Рабинов и Урванцевы

убедили ее, что, вложив в это имение деньги, легко удвоить капитал. Требуется всего тридцать тысяч на погашение одной закладной, а банк и лесной купец покроют остальное. И Оленька умоляла нас согласиться, взяв и ее двадцать две тысячи. Витя колебался. Из слов Рабинова мы не могли даже понять, кто владелец этого имения, кто продает его? Оно являлось владением разных лиц. Может быть, Рабинов называл и считал владельцами целый сонм кредиторов? Но главным владельцем Рабинов называл некоего Шмита, владельца тридцати тысяч закладной, которую и предстояло погасить в первую голову. После бесконечных переговоров, по правде сказать, мало выяснивших нам положение дела, потому что новички в подобных крупных делах, мы ничего в них не понимали, мы поддались уговорам Урванцева и Рабинова, уговаривавших не отказываться от грядущего нам счастья. При этом, понятно, мы должны были поделиться этим счастьем и обещать Рабинову из чистой прибыли двадцатипяти тысячный куртаж. Для этого нужно было прежде всего повидать в Вильне владельца Шмита, посмотреть план имения, узнать условия... Конечно, ехать в Боровичи посмотреть имение в натуре под глубоким снегом совершенно было излишне, достаточно было, что Рабинов его видел! Витя взял маленькую отлучку и, волнуясь, провожаемые в неожиданную дорогу, Тетя – скептически, Оленька с Урванцевой с надеждой на успех, мы выехали в Вильну, где обретался этот самый «владелец», толстый немец Шмит.

Начались переговоры. Немец был готов нам уступить свою закладную «Федово-Кучково» за тридцать тысяч, так что оставалось только ехать вместе в Петербург и после визита в Дворянский банк писать запродажную. Мы выехали в Петербург. Рабинов и Шмит ехали следующим поездом за нами.

В Петербурге у нас было столько родных и друзей, что нам никогда не приходилось останавливаться в гостинице. Но на этот раз мы сочли за благо никого не беспокоить нашей невероятной затеей, с неминуемыми визитами Рабинова и Шмита и остановились в неважной, хотя и центральной гостинице. Это было первое пренеприятное впечатление. Затем, не заезжая в академию, чтобы не волновать Лелю с Наташей, мы отправились в Дворянский банк. Там удивились нашему намерению купить Федово-Кучково: «Оно уже продано». Называли громкую фамилию. С досадой на Рабинова вернулись мы в свой номер гостиницы. Явился Рабинов и, выкатывая круглые черные глаза, клялся, что это неправда, что все дело исключительно в его руках. Но мы были смущены, стали отказываться совсем от этой покупки. Рабинов волновался, негодовал, просил, клялся... Неясность дела пугала нас: продано и продается. Кто, собственно, настоящий владелец имения, а не закладной, не поймешь. К счастью, Шмит, видя в Вильне нашу готовность купить его закладную, теперь стал ломаться, что он подумает еще. Это помогло нам решительно прекратить с ними дело.

Мы два раза заезжали в Академию, но застать Лелю не могли. Пугать Наташу не решились. Особенно грустно было, что и вечер у Лели был занят. Тогда мы отправились его коротать к своим родным Граве и конечно тотчас же сообщили Семену Владимировичу о постигшей нас неудаче. Каково же было наше удивление, когда Граве, бывший в то время поверенным по делам светлейшего князя Голицына (егермейстер Дмитрий Борисович<sup>143</sup>), не говоря ни слова, вытащил из своего стола целое дело, обширный доклад с подробным описанием этого самого Федова-Кучкова. Оказалось, что еще четыре года тому назад князь Голицын, собираясь его купить у князя Кропоткина, послал своего управляющего К. И. Лепина изучать это имение. После тщательного изучения леса на протяжении целых шести недель Лепин написал доклад, в котором в пух и прах раскритиковал все имение. За ненадобностью, Граве подарил нам этот доклад в собственность. Прочтя его, мы тоже убедились в полной негодности и разорительности подобной покупки. Чтобы нас утешить, Граве познакомил нас с господином Бурхардом, немцем, моряком, поглощенным новым промыслом – ловлей дельфинов. Граве рекомендовал его, как честнейшего человека очень опытного также в деле покупки имений, и Бурхард обещал нам непременно прислать опись нескольких имений, хорошо ему

---

<sup>143</sup> Голицын Дмитрий Борисович (1851 – 1920), князь, генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг., начальник императорской охоты. Последний дореволюционный владелец усадьбы Вязёмы под Голицыно.

знакомых.

Когда на другой день Рабинов, не чувящий, какая произошла внезапная перемена в его деле, явился к нам с победоносным видом, объявляя, что уломал Шмита, и Шмит согласен теперь переуступить свою закладную, что необходимо немедленно идти к нотариусу, мы решительно отказались следовать за ним. Молниеносный взгляд круглых, черных глаз Рабинова и все выражение его лица стало так грозно, когда он требовал, чтобы Витя шел к нотариусу немедленно, кончать, что мне даже стало жутко при одной мысли, что мы можем попасть во власть этой акулы. На выручку явился Вячеслав, брат Ольги Граве<sup>144</sup>, тоже бывавший в Кучкове и имевший какие-то счета с Рабиновым. Теперь Вячеслав что-то напомнил Рабинову и пригрозил ему чем-то. Кряхтя, почти со стоном, пришлось Рабинову отстать от нас. Быть может, попав в когти Рабинова, который бесконтрольно хозяйничал бы в Федове-Кучкове, так как служба Вити не позволила бы нам жить в этом имении, мы были бы совершенно разорены. Но гораздо вероятнее, что Рабинов «по совести» и ради Урванцева, готовый для нас все сделать, довольствовался бы своим заработком в двадцать пять тысяч и продал бы это имение так, как продал его сам Шмит несколько месяцев спустя бельгийскому обществу, которое дало ему четыреста тысяч только за один лес. Говорят, Рабинов не пла-

---

<sup>144</sup> Вячеслав Александрович Шахматов, наш троюродный брат. О нем см. главу 17.

кал, а ревел белугой, когда узнал об этом. Конечно, и Граве, и Вячеслав никогда не хотели верить этой басне, но мы услышали об этом, хотя и значительно позже, от хорошо осведомленных лиц, и сами прочли в газетах о покупке бельгийской компанией лесного имения в Боровичском уезде Федово-Кучково. Другого такого имения, вероятно, не было. К тому же, вполне возможно, что там, где управляющий князя Голицына искал имение для хозяйства, лесной купец и делец, как Рабинов, видел один барыш от продажи леса, которому предстояло безвозвратно погибнуть, как, вероятно, использовала его и бельгийская компания; при таких условиях, конечно, мы бы получили то «счастье», о котором Рабинов так хлопотал. Но мы, повторяю, ничего не понимая в больших делах и комбинациях, не решились пуститься в столь широкое плавание и вернулись в Минск ни с чем, к великому огорчению Оленьки и Урванцевых.

Я не помню и у меня не сохранилось писем, как встретил Леля наш проект и наш приезд, но об этом можно судить по его письму к Оленьке 9 февраля, на другой день нашего отъезда в Минск: «Я умоляю тебя ограничиться получением 6 % свод и не пускаться ни в какие аферы. Уверяю тебя, что всякая афера приведет тебя к нужде, к полному разорению. Хотел бы очень убедить в том же Женю; но конечно, это мне не удалось бы. Радуюсь тому, что вы не попали в петлю с имением в Новгородской губернии. У меня с самого начала получилось впечатление, что дело это опасное и ненадежное.

Но если бы даже оно было совсем ясным, то все-таки осуществление его потребовало бы от Жени и Виктора Адамовича столько затраты труда и времени, что пожалуй бы отразилось на служебной деятельности Виктора Адамовича, а между тем служба – единственный верный заработок».

Оленька была очень разочарована неудачей с Новгородским имением. Ее мечты увеличить свой капитал были вызваны вовсе не желанием большого благосостояния: весь смысл жизни для нее заключался в помощи ближнему: «Pour la charite poind de salut»<sup>145</sup>, – любила она повторять и лишала себя всяких удобств и удовольствий, а иногда даже необходимого: башмаков, шляп, чтобы все раздать нуждавшимся. Среди ее опекаемых были и подружки ее по институту, и полужнакомые старушки, а главное, конечно, голодающие по деревням. Друзьям же своим, особенно в тяжелом положении, она любила делать практичные подарки, стоившие, конечно, дорого: платья, посуду и т. п. Поэтому двести процентов, на которые ей надо же было и самой прожить, конечно, ей не хватало. Мечты ее были самые альтруистические, и тем досаднее было такое разочарование.

Довольной была только Тетушка. Она принципиально была против всяких рискованных афер. Во все время нашего отсутствия она очень тревожилась и мысленно, и на молитве все крестила в нашу сторону, ограждая «от зла».

Урванцева трогательно ухаживала за ней в эти дни, когда

---

<sup>145</sup> Спасение в благотворительности (фр.).

тетя писала: «Мы с Оленькой, как брошенные, сидим в Минске». Это были дни масляницы, стояли метели, Урванцева их угощала блинами, по вечерам рассказывала всю свою жизнь. Заходили, впрочем, на огонек и любезная Екатерина Филипповна Чернявская, приглашая к себе, Родзевич и, конечно, Татá. А по утрам тетушка была всегда занята своими душевными делами: читала Русский Архив<sup>146</sup>, писала записку Н. А. Хомякову<sup>147</sup> «О непрерывном девятилетнем обязательном и дорогом образовании сельском населении». Тетушка ужасно любила писать подобные записки и проекты высокопоставленным лицам, и некоторые из них очень любезно ей отвечали (Шварц и др.), что очень тешило ее, и ее очень огорчало, что все ее заботы о народном образовании и государственном переустройстве не встречали в нас сочувствия. Оленька просто жаловалась на эту «Manie des affaires d'Etat» (манию к государственным делам), отвлекавшую Тетушку от нее, а я была к ним просто равнодушна. Сочувствие она встречала только в Леле. Он сердечно и деликатно всегда выслуши-

---

<sup>146</sup> «Русский архив» – ежемесячный историко-литературный журнал, издававшийся в Москве в 1863-1917 гг. Создателем и продолжительные годы редактором журнала был П. И. Бартенев (1829 – 1912), историк, археограф, библиограф. Этот журнал называли «живой картиной былого», поскольку он содержал преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных, литературно-художественных и ведомственных документальных материалов, освещавших культурную и политическую историю России в XVIII и XIX вв.

<sup>147</sup> Хомяков Николай Алексеевич (1850 – 1925), член Государственной думы II, III и IV созывов от Смоленской губернии, председатель Государственной думы III созыва (1907-1910).

вал ее, писал ей по этому поводу длинные письма (погибшие), и особенно разделял ее огорчение по поводу ее большого разочарования в Учаеве, учитель мордовского языка Лели. В первых числах января сего года Учаев совершенно неожиданно покинул ее Новопольскую школу для более выгодной службы в Саратове.

Мы с Оленькой не умели ценить ни его знаний мордовского языка, ни его талантов народного учителя и, о ужас, вполне даже понимали, что этот мордвин, озабоченный пропитанием своей семьи, искал лучшее материальное обеспечение на новой должности, «как извещал ее» наблюдатель Космолинский. Учаев же, сообщая о своем внезапном отъезде в Саратов среди года, выражал надежду, что Тетя будет с ним и впредь переписываться. Последнее предположение уже совсем взорвало Тетушку, и она ответила ему (судя по сохранившемуся черновику) так строго, что вряд ли бедный мордвин мог надеяться когда-либо еще получать от нее письма, подобные тем, которые она ему писала с такой любовью и нравоучениями, как учителю любимой школы. «Корысть перетянула, – с горечью писала она об Учаеве Леле, – Я все думала, авось удержу, но нет, он не оценил все старание мое, устраивая его в школе (и те деньги, которые ты ему передал за уроки и от Академии)». Один Скрынченко тогда сумел отвлечь ее внимание от этого неприятного инцидента. Ей давно хотелось напечатать статьи дяди «Об участковом хозяйстве и о значении женщины», помещенные еще в 1867

году в Саратовском Листке, как доказательство его передового ума и взгляда на современное сельское хозяйство.

«Я хотела бы, чтобы видели теперешние деятели, что почти за 50 лет думали, действовали лучше, чем теперь, и не будь такого «провала» между соотечественниками, мы, то есть Россия, затмила бы весь Запад! Это каждый западник понимает, но так как ему не доступно понять смирение христианское, граничащее с аскетизмом русского православного человека, то он и видит только наше богатство внутри земли, нетронутое, и упадок нравственный нескольких молодых поколений – нет правил без исключения и т. д. и т. д.».

Скрынченко сумел ей помочь в этом деле. Печатанье статей в отдельных брошюрах было им заказано в одной из минских типографий. Этот вопрос интересовал и Лелю, и он справлялся об нем. «Меня очень интересует вопрос о дядиных сочинениях, переговорила ли Тетя с типографией, отдала ли рукопись в набор?» В том же письме он сообщал радостные известия об ассигновании нашему архивному комитету<sup>148</sup> трехсот рублей: «Все прошло гладко. Сегодня приехал Корш<sup>149150</sup>, и впереди, следовательно, тревожная неделя с заседаниями, обедами и вечерами. Жаль, что мы мало по-

---

<sup>148</sup> Академия Наук.

<sup>149</sup> Корш Федор Евгеньевич (см. примечания).

<sup>150</sup> Корш Фёдор Евгеньевич (1843 – 1915), филолог-классик, славист, востоковед, поэт-переводчик, профессор Московского (1868 – 1905) и Новороссийского (1890 – 1892) университетов, Лазаревского института восточных языков (1892 – 1915), академик ИАН(1900), учитель А. А. Шахматова и О. Брока.

говорили с тобой о Минске и общих наших интересах». Еще бы, когда Леля не мог нам уделить десяти минут: постоянные с утра звонки или «просят к телефону», «ждут в собрания», пакеты и письма, требующие немедленного ответа. А между тем было нам о чем поговорить и помимо вопроса об имени. Еще в свою бытность в Минске он просил Снитко и К<sup>о</sup> попытаться разыскать так называемую «Слуцкую псалтырь», драгоценный экземпляр, бесследно исчезнувший уже в недалеком прошлом. Наши друзья подняли тогда всю минскую епархию. Снитко сам ездил в Слуцк искать ее в архивах и по церквам. Заинтересовался этим и архиерей Михаил. «Слуцкой псалтыри» так и не разыскали. Снитко предполагал, что она попала в руки покойного Татура и была им сплавлена в Краков. Леля давал ему и другие поручения.

В январе Леля писал мне: «Посылаю тебе корректуру одной статьи, предложенной к напечатанию в Живой Старине.<sup>151</sup> Я очень хотел бы навести обстоятельную справку относительно изложенного в нем предания. Мне важно, между прочим, знать, сохранилось ли до сих пор название Коростень в Пинском уезде в Жолкинском имении, при границе Вишенского имения. Даже, нет ли в Логишине людей, помнящих какие-либо предания, сходные с изложенными здесь. Не найдется ли польская рукопись, упомянутая в начале и

---

<sup>151</sup> Речь идет о статье А. А. Шахматова «Из области новейшего творчества», опубликованной в 1909 году в журнале «Живая старина», т. XVIII, вып. 2 и 3, с. 164–167 и отд. оттиски. – *Примеч. сост.*

т. д. Не может ли Виктор Адамович попросить местного волостного писаря или сельского учителя собрать эти сведения?

Далее: о литовских татарах известно очень мало. Не отправишься ли ты к мулле и не попросишь ли его продиктовать тебе все, что он знает о составе, происхождении, религиозных отношениях своих сородичей или составить самому обстоятельную статью, которую я мог бы напечатать в Известиях».

По-видимому, как Витя считал минскую археологию папашей от всех благотворительных обществ, так и Леля знал, что лучшее средство забыть покупку имения – та же минская археология. И, конечно, не ошибся.

Визит к мулле, правда, был не из удачных. Мулла ничего не помнил и не знал, но ссылаясь на какие-то документы, отосланные в Крым. Приняты были меры, путем переписки, к возвращению этих документов. Что же касается Логишинских преданий, то приходилось ожидать возможности самим проехать в Пинский уезд, не раньше лета, во время каникул.

А между тем легенда, упоминаемая в корректуре, присланной Лелей, была очень интересна. Это был перевод старинной польской рукописи, хранящийся в Вильне, в Архиве еленского генерал-губернатора за 1864 год, номер 1511, листы 72-78, где речь шла о том, что мещане Логишина, местечка в двадцати верстах северней Пинска, подали прошение виленскому генерал-губернатору, предъявляя права на

земли вокруг Логишина. Попутно они приводили предание седой старины о заселении этого края: славянские племена Дулебяне и Ляховитяне под напором племен, нахлынувших с запада, должны были оставить свою древнюю столицу Коростень на реке Богом, позже названной Стырем, по имени царя их Стыра, и двинулись на север к озеру Ильмень. До сих пор, пояснили просители, близ Ильменя и Новгорода имеются селения Коростень-Ляховичи<sup>152</sup>, даже название Старой Руссы, столицы новоприбывших к Ильменю славян, они производили от царя своего Росса, сына Стыра.

Так как Лелю, в то время уже задумавшего свой труд «Древнейшие судьбы русского племени», особенно интересовала Минская губерния, как «колыбель славянства», то понятно, что ему хотелось разыскать предания, подтверждавшие существование древней славянской столицы Коростеня в Пинском уезде на реке Стырь. До сих пор известен был лишь Коростень на реке Корость, в Овручском уезде Волынской губернии. Вероятно, и княгиня Ольга осаждала и сжигала Коростень, столицу древлян, именно этот Коростень на реке Стыре, южном правом притоке Припяти.

Но наши археологи, сидя дома, могли выяснить только, что все следы Коростеня в Жолкинском имении, на границе Вишенского, исчезли. Что Зеленский упоминает еще о какой-то Корости на реке Горыне, следующий за Стырью, пра-

---

<sup>152</sup> Село Коростень в Старо-Русском уезде на берегу Ильменя и село Лоховичи в том же уезде на реке Ловати.

вым притоком Припяти, в Ровенском уезде Волынской губернии, вероятно, путая с Коростенем на Стыре.

Упомянутая же в легенде деревушка Ладорони поныне существует и, названная от «преславнейшего языческого капища богини Лады», теперь прозывается Ладорожьей. Что же касается Логишина, то оно известно с XVII века как владение князей Радзивиллов: богатое староство, пользовавшееся Магдебургским правом. Но о том, что это была столица прибывших с запада племен и что замок в ней с высоким валом занимал четыре версты, никто не помнит, так же, как и то, что их князь, прозванный в немецком наречии Герцун-Лях-Ширма, владел Пиной и Припятью, был с Киевом в коммерческих отношениях и, узнав, что киевский князь хочет в 988 году оставить языческую веру, предложил князю по велению Папы, не согласится ли он принять эту немецко-католическую веру?

Представляю себе, как все это должно было интересовать Лелю. Было написано всем, кого могли вспомнить в Пинском уезде, с просьбой собрать по этому поводу все предания. Конечно, было написано прежде всего священнику в Логишине и сельским учителям. Но они отмалчивались. Тогда мы с Витей обратились прямо к архиерею Михаилу, прося его указать нам кого-либо в его епархии в том крае, кто бы мог нам помочь в этом деле. Почтенный епископ довольно долго мысленно искал такое лицо. И не нашел, но вспомнил, что недалеко от города Борисова, в местечке Смолевичи, есть по-

падьа, родом из Пинщины, по супругу Радзяловская.

Попадья эта – бывшая сельская учительница, любила литературу и записывала народные сказки и предания. О, тогда немедля было послано попадье в Смолевичи письмо, и она, чуть ли не на другой день, прилетела ко мне! Это была умная, энергичная и решительная дама. У нее действительно было записано несколько народных преданий в форме рассказов. Она привезла с собой один из них, в котором упоминается Коростень, хотя это было лишь урочище, близ Давыд-Городка, в Мозырском уезде.

Предание было записано ею со слов старого деда Захаревича, когда она с мужем, певчими и всей школой в Троицин день поехала на лодках кататься по озеру в урочище Корости. Здесь, рассказывал дед, которого они догнали в душегубке на озере и стали спрашивать про старину, земля была богата, а народу мало. И однажды «наш» народ поехал по реке Льве ловить бобров. Их там тьма тьмущая. И увидели вдруг, что какой-то новый народ, «незнакомый», робит себе хаты не по-нашему, не ставя их на земле, а поднимая на сваях, точно голубятни. На вопрос, кто они такие, они отвечали, что они жили много лет в Коростени, на Ястыре (на Стыре). Там много хлеба и рыбы. Здесь же, в новом для них крае, много дичи и зверя, из-за страха которого они строятся так высоко. Ушли же они из Коростени потому, что «наш молодой князь Васильш новую веру вводит и богов наших в реке топит». И не так он, как жена его киевлянка взлюбила но-

вую веру и прогоняет из своего княжества всех, кто держится старой веры. Тогда они, чтобы не изменять своей вере, ушли из Коростеня и построились в этом урочище, названному из Корости по Коростеню, из которого они пришли. Староста Давыд-Городка (один из Погорынских городков, на реке Горыни), разрешил им тут селиться, но потребовал от них по пять бобровых шкур от дыма для князя Городецкого: тогда уже в Давыд-Городке не было Радобая, а княжили киевские князья», – закончил Захаревич.

Конечно, весь рассказ попадьи немедленно был послан Леле, который хотел его напечатать в Известиях Академии и обещал попадье гонорар, горячо прося ее прислать и следующие ее рассказы, содержание которых она мне кратко сообщила: о названии реки Стырь от слова «стыриться» в значении «сердиться», и еще предание о том, как «князь Васильш вводил новую веру в Погорынских городках» (по реке Горыни).

## Глава 6. Март-апрель 1909. Улогово-Лауданишки

За всеми этими заботами о Коростене и князе Васильше мы совсем забыли даже думать о покупке имения, хотя и не отказывались, больше по привычке, от географических бесед с комиссионерами.

Особенно донимал нас один полячок, буквально с мольбой, взглянуть на предлагаемое имение под Полоцком. «Ну съезди, чтобы отстала пиявка», – сказала я Вите, потеряв терпение от ежедневных посещений этой несчастной тощей фигуры с бледным, вытянутым лицом. Сама я была занята вторым приездом моей попадьи! Пользуясь праздничным днем, Витя выехал с ним на Полоцк и Польшу, в двух верстах от которой было Улогово, о котором так скорбела эта пиявка. Но владелец Улогово, отставной полковник Ганзен, спившийся холостяк, довольно негостеприимно встретил покупателей, хотя продавал имение потому, что после смерти матери-хозяйки изнывал от скуки, и готов был продать Улогово за бесценок. Все имение было до крайности запущено, усадьба развалилась, и хотя летом, вероятно, и было красиво большое озеро в усадьбе, общее впечатление, по крайней мере под снегом, получилось самое неблагоприятное. Когда после нескольких часов, проведенных на морозе и в снегу, Витя вернулся к Ганзену, не только не предвиделось обеда, но пи-

явка с трудом выхлопотал и черствого хлеба к стакану жидкого чая. Впрочем, подали еще кусок совершенно высохшего сыра. Витя, проголодавшись, пытался отрезать себе кусок этого сыра, но только расколол ножом тарелку. Вообще вся обстановка, угощение, разговоры, напоминали Плюшкина. Имение совсем не понравилось, и на Улогово был поставлен крест. Только пиявка все еще долго не хотела отстать от нас, и даже завязалась переписка с Ганзеным по поводу уступки в цене имения.

К несчастью Ганзена или вернее пиявки, который не терял надежды уломать нас, Ганзен вздумал писать и Вите, и пиявке одновременно. Он перепутал конверты, и Витя получил письмо, написанное Ганзеном пиявке. В нем Ганзен выражался очень нелестно по поводу того, что Витя не сумел достаточно оценить Улогово. Доставалось и комиссионеру: «Если все рекомендуемые им покупатели будут бить посуду, то ему, Ганзену, придется идти по миру». Витя отослал это письмо Ганзену обратно с припиской, тоже не особенно лестной для его автора. Вопрос о покупке Улогово был исчерпан, к большому огорчению пиявки, которому пришлось дать денег на покрытие расходов по поездке. Он пробовал подъезжать еще с новыми предложениями, но нам было теперь не до имения.

Археология брала верх. 27 февраля наш комитет устроил в Дворянском собрании вечер в пользу своих скудных средств. Ведь готовился уже к печати первый выпуск «Мин-

ской старины», а к весне намечались экспедиции. Зал был переполнен: масса учеников, учителей, а в первых рядах высший свет. Кто менее всего интересовался этим краем и его «русским» прошлым, о котором так скорбел Скрынченко, считал долгом показаться «ради архиерея» и «русских тенденций русификации» и прочих прелестей. Все сошло гладко: пел архиерейский хор, Снитко читал о Минске в XVII веке, Скрынченко о белорусах и их языке, все как следует быть, и мы с Оленькой туда же. Оленька спела под аккомпанемент рояля и припев хора «Плач Ярославны» на слова о Полку Игореве<sup>153</sup>, слова вполне соответствовали общему тону; нам же с Тетей приятно было услышать это исполнение музыки дяди. Как ни странно, сестра, конфузливая до дикости в обращении и разговоре, совершенно преобразилась во время пения. Она нисколько не робела не только петь в гостиной, но и в большом зале при публике, голос же ее с годами только крепнул и не терял красивого задушевного тембра, без малейшей аффектации. Я же, наоборот, не так страдала конфузом, как она, но выступить с лекцией «Памятники старины», бывшей моим номером этого вечера, не решилась. Хотя мне и пришлось как-то «читать», но то было в пользу голодающих и вполне благожелательной и сочувствующей среде<sup>154</sup>.

---

<sup>153</sup> Оленька пела его в 1903 году в благотворительном концерте в Петербурге, в зале Павлова.

<sup>154</sup> В женском благотворительном обществе у барона Буксревдена, Корсаковой и пр.

Теперь же под взорами высшего минского общества я предпочла только сама послушать ее, и за меня ее прочел, с чувством, с толком, с расстановкой, брат Тата́ Всеволод Петрович, граф Корветто. Конечно, Тата́ сочувствовала и помогала нам в этот вечер так, как если бы это был ее вечер в пользу приюта.

В этой коротенькой лекции вылилось у меня то, что должно было вызывать живой интерес к этому краю и его далекому прошлому. Думалось, что кроме кучки любителей и педагогов, все слушатели так же, как и я, так основательно забыли и спутали все события древнерусской истории и так плохо применяли эту историю к географии, хотя бы одной Минской губернии, что вряд ли, проходя по нижнему базару Минской улицы, по доскам, закрывавшим реченку Немигу, впадавшую в Свислочь, предполагали или вспоминали, что это та Немига, ровные берега которой были усеяны костями русских сынов во время борьбы Полоцких князей с Киевскими в XI веке. Что все эти неважные теперь города и еврейские местечки Минской губернии возникли в доисторическое время, и многие из них несли за собой славное прошлое, как Туров – столица дреговичей, рассадник христианства в Полесье; Новогрудок – столица Литовского королевства с разрушенным замком Миндовга; Пинск – удел Киевских князей с монастырем времен Святого Владимира и пр. Даже ничтожные местечки Копыль и Клецк когда-то были укрепленные столицы самостоятельных отдельных кня-

жеств.

Нам с Витей, по крайней мере, приходилось учиться истории заново, с приложением ее к географии Минской губернии. Одно мне было жаль, что Скрынченко, напечатав эту лекцию в Минском Братском Листке и в Минской Старине, принес мне ее готовые оттиски в маленьких брошюрках. Я, конечно, послала экземпляр Леле. «Прочел с интересом, – ответил он, – сообщил бы несколько замечаний, если бы ты прислала ее мне в корректуре. (!) Но вообще она очень интересно и живо написана». Как были бы интересны именно его замечания! Вот кто хорошо знал историю и географию этого края. И как радостно было бы именно ему видеть наяву те местности, которые он так хорошо знал по своим летописям. И если бы он мог принять участие, например, в предполагаемой летом экскурсии в Туров!

Этот вечер заставил нас опять вернуться к общественной жизни в Минске, от которой мы немного отстали, благодаря нашим отъездам. Стоило пропустить несколько званых вечеров, как мы уже отстали от светского колеса в Минске. Теперь же у нас явилась новая забота. Эрдели обратился к Вите с предложением купить имение в Слуцком уезде, где предводитель Лопухин оставлял свою должность. Согласно последнему циркуляру министерства, предводитель, назначаемый в западный край, должен был непременно иметь земельную собственность.

Витя взволновался. Хотя должность предводителя и явля-

лась классом ниже неперменного члена, но по своей независимости, да и по своей деятельности, была предпочтительна, и далеко не каждый предводитель мечтал идти в губернское присутствие и менять свой уездный город на губернский, хотя неперменный член имел прерогативу его ревизовать. Между уездными городами Минской губернии Слуцк был из лучших, но... он не стоял на железной дороге, и сообщение даже с Минском было очень сложное. От Минска несколько часов по железной дороге до станции Осиповичи. Пересадка, и по железнодорожной ветке до Старых Дорог и оттуда еще 47 верст по шоссе. Конечно, с точки зрения наших археологов, Слуцк чудесный город. Достояние Владимира Мономаха в XII веке; Литовская столица Слуцкого княжества, князей Олельковичей<sup>155</sup> в XIII веке. В XVI веке с прекращением мужской линии Олельковичей переходит к князьям Радзивиллам<sup>156</sup> и затем по женской линии переходит к Вихгенштейнам и Гогенлое.

Нам рекомендовали купить в Слуцком уезде для ценза имение Горки, но купить его нам показалось еще сложнее Новгородского. В чем состояла эта сложность, не помню; быть может, более всего нас смутили расстояния и сообщение. Оно было в 45 верстах от Слуцка и 70 верстах от же-

---

<sup>155</sup> Родоначальник Слуцких Олельковичей, князь Александр Владимирович был внуком Ольгерда в княжестве Литовском.

<sup>156</sup> Последняя Слуцкая княжна София Олелькович вышла замуж за Яна Радзивилла.

лезной дороги. При таких расстояниях и неминуемых разъездах, жизнь представлялась нам не иначе, как в экипаже, а между тем Горки продавались абсолютно без всякого инвентаря, и одна покупка экипажей и лошадей являлась уже достаточно накладным расходом. А совладелица наша Оленька с Тетей к нам и не доедут, а уж как мне там будет весело, когда Витя будет проводить целые сутки в дороге. И представляла я себе зимние метели и темные осенние ночи... Нет! Нет! После Горок нам морочили еще голову несколькими именами в Слуцком уезде, но все они стоили дорого. Слуцкие земли славятся своей урожайностью, продавались без «комбинаций» и отстояли очень далеко от железной дороги. К тому же дело Лопухина затягивалось, и мы рисковали, захав с головой в какое-нибудь имение за 70-80 верст от железной дороги, так там и засесть.

Но теперь Леля одобрителнее отнесся к этим предположениям и писал: «Очень важное предложение сделано Виктору Адамовичу. Меня сначала поразила мысль о предстоящей разлуке, а также о еще большем расстоянии отсюда до будущего вашего места жительства, но теперь я склоняюсь к тому, что, пожалуй, на это предложение не следует отвечать отказом. Дело в том, что место члена губернского присутствия может быть упразднено с введением реформ местного управления, и Виктор Адамович может остаться за штатом. И губернатор будет иметь основание считать себя свободным без всяких обязательств, ввиду того, что Виктор Адамович

не последовал его совету. Но является вопрос, прочно ли место уездного предводителя, не будет ли эта должность выборной в западном крае, совсем не знаю законодательных предположений на этот счет. Далее еще сомнение: будет ли имение давать доходы и представляет ли оно вообще ценность, ввиду возможной продажи его при переходе вашем в другое место, в другой город. Мне представляется очень интересным место в Слуцке, место предводителя, главного лица в уезде, но как досадно, что он не на железной дороге. Конечно, надо взвесить все очень серьезно. Но я никак не могу отнестись к Слуцкому проекту так отрицательно, как ко всем прошлым. Жалко только, что вы как будто закабаляетесь в Минской губернии и отрываетесь совсем от Саратовской.

Мысль об уездном начальнике в Аткарске или другом уезде Саратовской губернии мне больше, гораздо больше улыбается. Напиши еще раз, как спела Оленька. Понравилось ли. Кто сопровождал?»

Но уже в следующем письме Леля ссылался на то, что у них была Е. Н. Д.<sup>157</sup>, которая начала указывать на всю опасность подобной покупки и предложила по возвращении из Саратова переговорить с ХХ, не может ли Виктор Адамович получить повышение и движение по службе. Я советовал бы тебе обстоятельно написать по этому поводу Е. Н. Но, конечно, я Е. Н., моей большой приятельнице, не написала, повышения мы не ожидали, а лишь жизнь более по душе,

---

<sup>157</sup> Елизавета Николаевна Деконская, сестра Лихачева.

связанную с жизнью в деревне, и место предводителя в этом случае являлось самым подходящим. Единственным повышением могло быть еще место вице-губернатора, но последнее нас не манило, это та же бюрократическая жизнь, те же столкновения с администрацией и нестерпимыми светскими обязательствами, визитами, которые извели нас за три года в Минске. «Подумайте очень, прежде чем покупать имение. Я не совсем понял: неужели Эрдели намекнул, что настоящее свое место Виктор Адамович может потерять?» – заканчивал Леля письмо. Нет, об этом и речи не было.

Всегда корректный и вежливый, Эрдели вовсе не поддавался «осиному гнезду» и всегда был к Вите справедлив. Предложение перехода в Слуцк было с его стороны только внимание, вызванное нашими попытками иметь земельную собственность, что являлось, как оказывалось, «желательным явлением», о чем мы менее всего думали, а может быть потому, что он не мог не предполагать известную трудность нашего положения в минском обществе. Теперь Эрдели с Шидловским окончательно рассорились. Положение последнего становилось даже критическим. Ему предстояло серьезно хлопотать о переходе в другую губернию. Сам по себе добрый и обходительный, Шидловский, как всякий человек, имел свои недостатки, а обычная вражда губернатора с вице-губернатором в Минске раздувалась усиленно «осиным гнездом». Мы были не в фаворе «осиного гнезда» и тем самым уже сторонниками Шидловского. К сожалению, Шид-

ловский ухитрился рассориться и с прочими видными чинами администрации, что, конечно, ставилось им в большой плюс.

Витя при всей своей сдержанности не мог оставаться молчаливым зрителем и не раз вступался за гонимого Шидловского. Так помнится, он буквально спас его от разъярившегося Щепотьева. Но Шидловский, чем-то опять раздраженный, вновь сцепился с Радзевичем, и по его настоянию была назначена внезапная ревизия продовольственного отдела губернской управы. Предстояло целых две недели ревизовать этот отдел, а ревизуемые, как известно, принимают такую ревизию за личное оскорбление и обыкновенно грозят сломать шею ревизорам, особенно если они из местных же сослуживцев, а не присланы из Петербурга. Шипение в Минске еще усилилось и осложнилось этой ревизией, которая хотя, кажется, кончилась ничем, но тем ненавистнее был вызвавший ее Шидловский и не менее его, конечно, Тата, со своими приютами и благотворительными обществами! И Сорнева не могла простить ей прошлогодние столкновения, и Долгово-Сабуров<sup>158</sup>, словом, весь город ополчился против них, и мы одни, в такое время, в особенности не хотели им изменять, хотя вполне сознавали недостатки немного легкомысленного забияки, но добродушного Константина Михайловича, терявшего душевное равновесие от общего шипения. Вот почему более чем когда-либо хотелось уйти в уезд по-

---

<sup>158</sup> Губернский предводитель.

дальше от «губернии».

Но вакансии предводителя в Минской губернии не предвиделось, кроме Слуцкой, да и то по окончании дела Лопухина, т. е. через год, и мы решили отложить наши поиски до лета. Но случайно Витя разговорился с инспектором Боклевским, красивым стариком, которого мы не раз встречали в обществе. Витя сообщил ему о неудаче со Слуцкими именьями. Боклевский стал уговаривать бросить эту затею: «К чему забираться в глушь. Боже избави. Еще вопрос – уйдет ли Лопухин, как кончится его дело, вы будете его караулить в имении за 70 верст от железной дороги. Подыщите имение поближе к Минску. Минск – отличный город, и мы Вас ни за что из Минска не выпустим!» Затем Боклевский посоветовал Вите обратиться к Ивану Фомичу Гринкевичу. Это лесничий из Пермской губернии в отставке, человек опытный и осторожный, который сможет не торопясь разыскать нам имение. Человек свободный, на пенсии, обеспеченный в Минске домами и небольшим капиталом, педантически честный, который с удовольствием поможет нам, так как он еще вполне бодрый старик и очень будет рад такому делу.

Действительно, Гринкевич, толстый старик с длинной седой бородой, очень охотно отозвался на наше предложение при условии три рубля суточных, все дорожные расходы да плюс надежда получить у нас же место управляющего, если найдется имение. При этом Боклевский очень настаивал на

том, чтобы поискать имение поближе к Минску, так как из Минска нас не выпустят, и не к чему рваться из города, где все нас так любят. Увы, только не высший круг.

Как только комиссионеры снабдили нас партией описей наиболее близких имений к Минску, Гринкевич выехал на их осмотр. Сначала он выехал в Ванцерово, имение Валицкого с мельницей и круподеркой, в двенадцати верстах от Минска. Осмотрев его, забраковал; потом поехал подальше в Трокиники, имение Шишко близ станции Чудогай, по дороге в Вильну, с винным заводом – забраковал. Осмотрел наяву или, познакомившись с комиссионерами, их описями имения, еще с два десятка имений, и все ему было не по душе, все он браковал. Наконец, нам предложили Уречье у станции Жодино, всего час езды от Московско-Брестской железной дороги. Такое расположение имения было особенно удобно, да и все хвалили это имение с винокуренным заводом, молочным хозяйством и пр. Владелец Славинский, поляк, еще очень молодой человек, круглый, розовый, кудрявый, сам вел очень успешно свое хозяйство. Но вдруг споткнулся, стал играть в карты и попал в кружок шулеров, которые обобрали его. Тогда он бросил хозяйство и продавал свое имение дешево и спешно. Витя, опасаясь, что Гринкевич слишком мнителен и вновь забракует имение, поехал с ним сам и вынес впечатление благоприятное.

После того Славинский приехал сам для переговоров с нами, но, увидя у нас рояль, сел играть, а увидя ноты сестры,

принялся ей аккомпанировать, упросив петь. Он аккомпанировал прекрасно и воодушевил сестру; мы все были очарованы его манерой играть, в нем чувствовался талант, увлечение. И вечер пролетел для нас так приятно, что право было не до сухих расчетов, а так как Славинский очень просил нас к нему приехать обоим лично в Уречье, то мы и расстались с намерением к нему приехать через день. Он обещал даже подарить нам ту пару серых лошадей, которую он вышлет нас встречать.

Но какая-то служебная помеха не дала нам возможности съездить в Уречье, и мы вторично послали туда Гринкевича. Я уверена, что если бы мы сами поехали, Уречье было бы куплено. Уж очень положение его у самой станции в часе езды от Минска было соблазнительным. Но Иван Фомич, по обыкновению, с мелочною подозрительностью стал до всего докапываться. Он выяснил, что обещанная нам в подарок пара серых лошадей уже была запродана зараз троим покупателям, поднявших по этому случаю драку при Фомиче же. Он убедился, что лес большею частью вырублен и не хватит на топливо завода, да арендатор имения что-то замышляет и пр., словом, забраковал и Уречье. Это не помешало дяде этого самого Славинского помещику Свидо вскоре купить Уречье и заплатить ему на 40 тысяч дороже.

Все затем следовавшие предложения комиссионеров им так же были забракованы. Это становилось даже скучным. «Ну, уж Лауданишки не забракует ваш сварливый старик», –

сказали они нам, когда узнали, что он поехал смотреть это имение в Витебской губернии, в восьми верстах от станции Рушаны по Варшавской железной дороге. Предложил Лауданишки сам владелец Соммерсет-Россетер, приехав к нам вместе с присяжным поверенным Володкевичем, у которого была тридцатитысячная закладная на это имение. Все было ясно в этом деле: ни куртажей, ни посредников, ни комбинаций, две тысячи десятин земли, много угодий, несколько фольварков в аренде и две красивые усадьбы над озером. Иван Фомич пробыл в Лауданишках четыре дня, нашел имение прекрасным во всех отношениях, но все же выставил столько опасений и подозрений, что мы опять не решились. Нас остановила цена – сто двадцать пять тысяч без комбинаций. Как с этим справиться? И почему Соммерсет, не нам чета как хозяин, не может справиться с имением? Вот этот вопрос особенно пугал Гринкевича.

Прошло несколько дней, и опять приехал к нам Володкевич, теперь с мольбой стать на торги Виленского банка. В конце апреля Лауданишки будут выставлены на торги, и его закладная пропадает! Он разорен! Он умоляет! Если бы мы приобрели Лауданишки с торгов, т. е. за долг банка, он надеется на нас, мы выплатим ему его тридцать тысяч, да и Россетеру заплатили бы по уговору что-либо, т. к. он останется буквально нищим.

И вдруг мы опять решились: надо же было когда-нибудь решиться! Чтобы стать на торги, надо было иметь не менее

тридцати тысяч, но ссуда Крестьянского банка была уже готова к выдаче 15 апреля. Тетя вздыхала: только этого не доставало: покупать имение с торгов! Но мы ее успокаивали, это же было с согласия и Россетера, и Володкевича, которые иначе рисковали оба все потерять. Так как слово наше было им дано, мы прекратили наши уроки географии, тем более что наступали праздники Пасхи, ранней в том году. Перед праздниками было много дел. Тата устроила вербный базар в пользу приюта, и мы все, даже Оленька, приняли в нем живейшее участие. Бесперывно два дня мы все торговали в театре. Публики была масса. Одна лотерея дала пять тысяч. Надо сказать, Наталья Петровна умела воодушевлять самые сухие сердца и, несмотря на свои распри, все общество откликнулось на этот базар. Дамы к концу второго вечера попадали в обморок от усталости. Судьба приюта на этот год была обеспечена. Постройка его тоже была доведена до конца, и шестого мая предполагалось уже его освящение: Оленька рисовала к этому дню образ святой Ирины, княгини Анны Новгородской, во весь рост, а Снитко составлял очерк о значении святой Ирины, именем который был назван приют Натальи Петровны.

Пасху мы провели спокойно и приятно. Тетя уже рвалась в Губаревку, к весенним экзаменам в школах, но нам удалось ее убедить, что к экзаменам она успеет, а весна холодная, и в Губаревке еще очень неудобно, и уезжать от нас на Пасху совсем не следует. Тетушка сама это чувствовала и по-

нимала, но то были все еще ее порывы, так мало ценимые Оленькой. Тетушка была вообще очень довольна Минском. Ее трогало общее внимание, которое ей оказывали все наши друзья, уже не говоря об Урванцевой, которая если изводила «капризника», как неизменно в обществе и громко на улице она называла Витю, то Тетушку она чтила, как родную мать. Очень полюбилась тете и Мария Дмитриевна Кологривова, мать Юрия Александровича. «По мыслям и действиям мой двойник, – писала она Леле, – она пишет статьи и помещает в Санкт-Петербургских Ведомостях». (Двоюродная сестра князя Ухтомского [Экаер] и сама Ухтомская). Эти статьи касались проекта школы для образования домашней прислуги, и понятно, какую союзницу нашла почтенная Мария Дмитриевна в Тетушке. Но, конечно, всего приятнее Тете было то, что брошюрка была, наконец, напечатана, и она могла ее разослать своим друзьям и единомышленникам.

15 апреля мы с Витей вновь поехали в Петербург. В это второе свидание с Лелей мы нашли, что он выглядит лучше и веселее, нежели в феврале. Между прочим, его развлекла поездка в Царское село, на представление Мессинской невесты. «Играл великий князь Константин Константинович<sup>159</sup>, – писал он, – был государь и еще кое-кто из царской фамилии. Великий князь играл хорошо, но трагические роли не по его

---

<sup>159</sup> Константин Константинович (1858 – 1915), великий князь, внук Николая I, генерал от инфантерии, президент Императорской Академии наук, поэт, переводчик и драматург, творческий псевдоним К. Р.

натуре, как мне кажется, отлично играли и остальные артисты и любители. Вернулись в половине второго ночи. Воображаю, сколько стоил этот день великому князю с каретами для гостей, экстренным поездом и пр.».<sup>160</sup> Шунечка уже начала свои сборы в деревню, так как предполагалось переехать в Губаревку в начале мая. Леля собирался с Сашенькой и Ольгой Владимировной<sup>161</sup> выехать в половине мая, а перспектива лета и отдыха всегда радовала его. Я не помню, чтобы мы в этот приезд волновали его нашими планами, и если говорили о торгах Лауданишек, то, во всяком случае, вскользь, но, конечно, не умолчали, что ссуду Крестьянского банка за Липяги сорок тысяч получили себе и Оленьке, но от шести процентов именного обязательства отказались и при размене потеряли тысячу рублей<sup>162</sup> и перевели в Вильну не сорок, а тридцать девять тысяч. Если бы нам пришлось менять их позже, как оформленное именованное обязательство, мы бы потеряли не одну тысячу, а восемь тысяч, а решительно отказаться от «земли» мы не решались. Будь что будет.

Мы прибыли к торгам в Виленском банке аккуратно к двенадцати часам и ожидали начала в небольшой боковой зале. Неприятное ощущение, точно чего-то совестно, но Россетер и Володкевич радостно встретили нас, и мы разгово-

---

<sup>160</sup> Письмо А. А. от 9.4.1909.

<sup>161</sup> Ольга Владимировна Градовская, рожденная Шидловская, мать Наташи. Сашенька – сын Лели, больной после менингита, без речи и движения.

<sup>162</sup> По курсу 97½ рублей за 100.

рились, как все устроим для общего благополучия: Володкевичу выплатим его закладную, Россетеру уступим любую из двух усадеб на озере и часть капитала, по справедливому расчету. Только мы не знали, как приступить к делу, но они обещали быть нашими суфлерами.

Россетер казался очень доволен и уверял, что вполне мирится с продажей имения, но только если мы купим имение, но его пугает, что на торги приехал его сосед и враг (называл какую-то немецкую фамилию). После этих разговоров Россетер, как бы невзначай, стал внимательно читать вывешенные объявления о продаже назначенных к торгам имений и вдруг заметил опечатку в количестве указанных в Лауданишках десятин. В объявлении было указано количество десятин на один ноль более: двадцать тысяч десятин! Очень удивленный, он бросился за разъяснением в правление. Произошел переполох, был запрошен управляющий, члены, а затем объявлено, что торги на Лауданишки отменены из-за этой якобы ошибки Виленского банка. Мы вернулись в Минск, в душе очень довольные, что не купили Лауданишки таким несимпатичным способом, хотя ясно было, что все равно Лауданишкам не миновать продажи с торгов, а тогда дадут ли Россетеру отступные за усадьбу или денег – большой вопрос.

Володкевич негодовал. Оказалось, не первый раз выезжал он на торги, и каждый раз все кончалось для Россетера вполне благополучно.

Чтобы уже покончить с Лауданишками, скажу, что, кажет-

ся, через месяц Лауданишки вновь продавались с торгов и не банком, а в Витебске по судебному взысканию Володкевича. Опять Володкевич умолял нас принять участие в торгах. Теперь Витя поехал с Гринкевичем в Витебск, и еще раз Россетер сумел сорвать торги. Причиной тому явилось еще более непредвиденное обстоятельство. Трагизм положения Володкевича заключался в том, что он как католик-поляк мог быть держателем закладной только у владельца польского же происхождения. В западном крае поляки-католики не имеют права покупать землю у русских владельцев, а потому так же и держать русские имения под закладной. Володкевич мог иметь эту закладную на Лауданишки только потому, что Сомерсет-Россетер, судя по документам, засвидетельствованным Витебским губернатором Фон-Дер-Флитом, года четыре тому назад был католик, но вдруг теперь Россетер, так же невзначай, как тогда в банке, пристальнее рассмотрев свои документы, заявил, что он вовсе не католик, а происходит от английских лордов Сомерсет-Россетеров, поэтому он не поляк и не католик, а англичанин, а англичане, как и немцы, в этом вопросе пользуются теми же правами, что и русские. В доказательство своего происхождения теперь им были представлены документы, заверенные тем же губернатором Фон-Дер-Флитом. А раз Россетер оказался англичанином, а не поляком-католиком, закладная поляка теряла свое право закладной. Следовательно, иск Володкевича становился незаконным, а потому в иске ему было отказано, и Ла-

уданишки вновь были сняты с торгов. Володкевич просто из себя выходил, и тотчас предъявил иск к самому Фон-Дер-Флиту, подписавшему два таких противоречивых документа о происхождении Россетера. Признаюсь, как ни тягостны были эти две напрасные поездки и расходы по ним, но симпатии наши все же были на стороне бедного Россетера, так упорно старавшегося сохранить свое гнездышко. Володкевич же, правый в своих домогательствах, все же казался нам беспощадным и даже жестоким. Он насчитывал проценты на проценты, взыскивал двенадцать процентов, и как-то становилось жутко от его упорного преследования.

Чтобы так же покончить с Лауданишками, которые мы так и не купили, скажу, что Володкевич, хотя и значительно позже, выиграл процесс против губернатора, ему были присуждены взыскиваемые им все убытки. Но бедный Россетер боролся до конца и так и не отдал свои Лауданишки, хотя они постоянно были на торгах Виленского банка. Года два спустя он внезапно умер. Осталась жена и дети. Жена сумела продать часть имения и выплатить все долги мужа в том числе и Володкевичу, а оставшаяся часть ее имения была приведена в такой порядок, что стало ей давать четыре тысячи годового дохода.

## Глава 7. Май-июнь 1909.

### Город Борисов – Альт-Лейцен

Вероятно, только вернувшись в Минск, мы обстоятельнее сообщили Леле о торгах в Лауданишках, судя по его письмам конца апреля. Он уговаривал Оленьку быть осторожной, благоразумной.

«Не хочу расстраивать вас, но считаю ошибкой и то, что вы отказались уже от шести процентов ренты. Будьте осторожны. Не раскаивайтесь в сделанном уже шаге, но не рискуйте дальше. Лучше всего поместить капитал в хорошие бумаги. Можно рискнуть помещением и в акционерные предприятия, разумеется, ненадолго, а так, чтобы вернуть хорошими процентами – убытки, уже вами понесенные. С большой робостью решаюсь дать подобный же совет Жене. Я понимаю, что он диктуется моей слабостью, недостатком сил и энергии, которых уже недостаточно, но все-таки лучше никогда не переоценивать своих сил и не брать на себя неудобноносимой ноши, бремени чрезмерного. Вчера я мало поговорил с Женей... поцелуй ее за меня»<sup>163</sup>, а вслед за тем и мне писал: «Мне теперь после того, что писала Оленька и что пишешь ты, очень не улыбается ваша покупка. Надо искать чего-нибудь лучшего и более надежного. Мною прямо

---

<sup>163</sup> Письмо А. А. от 24.4.1909.

овладевает страх и трусливое настроение, когда я подумаю о вашем настроении. Скольких уже приходилось пожалеть и осудить за неосторожное обращение с деньгами. Неужели это не дает право быть скептиком?». <sup>164</sup>

Конечно, бедный Леля был прав. Теперь разменянные к торгам деньги лежали на текущем счету. Наступало время разлуки с Тетей и Оленькой, а вопрос о том, как теперь быть, все так же оставался открытым. В последних числах апреля мы проводили Тетушку в Губаревку. Она уезжала вообще очень довольная Минском. «Меня трогают, – писала она Леле, – очень добрые отношения ко мне здешних друзей Жени. Представь себе, другой вечер приходят лично ко мне, узнав, что я скоро уезжаю. Я ведь никуда не выезжала и только встречалась дома с ними». Тетушка приписывала в том же письме: «Живопись Олечки поразительна. Картины ее стоят и висят в гостиной, обращая внимание, а Женечка наша радуется и ужасно вперед уже грустит о разлуке». Это правда, разлука с моими давалась мне нелегко! Из-за них я постоянно уезжала от мужа. Бог знает, что я переживала тогда в эти долгие разлуки с ним! И все-таки сколько упреков приходилось выслушивать от моей бедной маленькой сестры. Сколько слез она проливала из-за них, как упорно добивались и мы так устроиться с Витей, чтобы не разлучаться с ними! Вот первая зима, что нам удалось так прожить вместе в Минске, но наступало лето, и Витя не мог же его проводить в Губа-

---

<sup>164</sup> Письмо А. А. от 28.4.1909.

ревке! Когда же я сокращала свои разлуки с Витей, сестра ставила мне в пример всех дам, встречаемых ею в вагонах, которые уезжали летом на воды и в курорты, оставляя своих мужей на все лето. «Я очень жалею, что ты не из их числа». <sup>165</sup> И теперь уже я слышала ее недовольство, потому что раньше конца июля, когда у Вити начнется ревизия, которую ожидали из Петербурга, я не смогу выехать в Губаревку. Проводив Тетушку в Губаревку, Оленька осталась у нас еще на некоторое время, пока Тетушка будет справлять свои школьные и душевные дела, а в Минске Татá шестого мая не освятит свой приют.

Образ Ирины был закончен, и в киоте поставлен в часовне Александра Невского в сквере на Захарьевской. Сестра очень смешно описывала, как в мое отсутствие Татá взялась и за нее: она упросила ехать с ней к игуменье просить вышить в монастыре золотом по бархату тропарь святой Ирины. Дорогой Татá подхватила еще одну даму, так что служка игуменьи, испуганная такому многолюдству, сперва не хотела их пускать. Затем начались разговоры без конца так долго, что Оленьку стало тошнить от скуки, но Татá собиралась еще пройти с ней по всем кельям. Тогда сестра бежала от нее! На другой день Татá опять заехала за ней тащить в собрание, где будут читать очерк Снитко об Ирине. «Словом в лоск положила меня». <sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Письмо О. А. от апреля 1909.

<sup>166</sup> О. А. от апреля 1909.

Но когда у нас сорвались и Лауданишки, Оленька уже стала нервно относиться к вопросу о покупке земли. «Мы скоро будем в положении Крыловской разборчивой невесты», – говорила она, досадуя на нерешительность Вити и подозрительность Гринкевича. При ней предлагали нам Мышь Фон-Моллера в Новогрудском уезде, Глуск Рубана, Заброту Платера, Холопеничи фон-Зенгера и еще многие другие. Но особенно морочили нам голову с Бениным Патона: «Чудная усадьба, винокуренный завод и тысяча сто десятин уступались всего за девяносто тысяч» и «с комбинациями». Фомич должен был выехать, Фомич должен был купить», – горячилась Оленька, уговаривая нерешительного Витю, который был уже готов совсем отказаться от «земли», чтобы не рисковать и не терять более денег на поиски ее.

И наш бедный Иван Фомич поехал в Бенин – от Новогрудска четырнадцать верст по сыпучим пескам. Его сопровождало три комиссионера! Между ними первой скрипкой был Антон Осипович Кулицкий, Мозырский, как называли его по его происхождению из города Мозыря. Решительный, ловкий, опасный для зазевавшегося обывателя Кулицкий отличался удачей, потому что умел брать натиском. Ему приписывали свойства гипнотизера и укротителя зверей. Попасть ему в лапы означало живым не вырваться. Теперь он клялся своим друзьям-комиссионерам справиться, наконец, с упрямым Гринкевичем, «всучить» нам Бенин и получить у них приз за умение и ловкость. Уставшие и разочарованные

комиссионеры начинали поговаривать, что мы совсем ничего не купим: «сварливый» старик упрям, а Витя недоверчив и нерешителен. Укротитель зверей взялся покончить с нами. Но когда Иван Фомич, приехав в Бенин, убедился, что богатое имение, бывшее князей Долгоруких (теперь в еврейских руках), превратилось в пустырь с вырубленным лесом, что из имения все выжато, что только возможно, он уперся опять. Что ни делал Кулицкий: и подкупал, и угощал, и уговаривал, а вечером и пел, и танцевал, чтобы разогреть кремневую душу Фомича, рассказывал он сам, захлебываясь, но подкупить его, убедить в мнимых достоинствах Бенина им не удалось! И Бенин ухнул за другими имениями. Почему-то Оленька особенно жалела Бенин. Быть может, три комиссионера, расхвалившие зараз это «дивное» имение, сумели ее убедить, что Гринкевич никогда нам ничего не купит!

Вскоре затем Кулицкий вновь явился к нам, предлагая купить четыре тысячи десятин (?) по двадцать рублей землю из-под леса в своем Мозырском уезде, в Скрыгалах. Он же брался распродать землю крестьянам, которые прибудут на его зов из Волыни. Красноречиво убеждал он нас: нам придется только съездить к нотариусу подписать купчую, а затем все, все хлопоты падут исключительно на него. Владелец этих четырех тысяч некий Любимов, уже телеграфировал нам, что готов выехать совершать запродажную. Мы с Витей слышать не хотели о такой парцелационной<sup>167</sup> «афе-

---

<sup>167</sup> Парцелляция – дробление земли на мелкие участки. – *Примеч. ред.*

ре»... и решительно отказались. «Ну, не минуете вы меня, – мрачно проговорил Кулицкий, стиснув зубы, – с таким колпаком все равно далеко не уедете. Сколько времени покупаете! Другие за это время успели два раза обернуть свои деньги!»

Но мы только были рады, что сумели от него избавиться! Оленька же, не желая слушать оправданий Фомича, очень огорченная, что последняя надежда, Бенин, тоже сошел со сцены, стала собираться в Губаревку, предварительно сделав крюк в Козельщину, ее давнишнюю мечту, чтобы посетить бывшее имение ее друга Владимира Ивановича. Поехала с ней и Урванцева помолиться у Козельщинской Божией Матери, которую она особенно чтит.

Проводив их в Козельщину, нам стало скучно сидеть в городе в самое лучшее время года. Витя решил меня завезти к своей тетушке фон-Кехли, в Зябки, бывшее ее имение по Полоцкой железной дороге, пока он дня два-три проведет на ревизии одного земского начальника в Парфианове, в соседстве по той же дороге. Так как после своей тяжелой поездки в Бенин Фомич просил пощады, чтобы полечить расшалившуюся печень и заняться ремонтом своих домов, то мы по дороге к тетушке решили сами заехать в очень расхваливаемое имение Кривичи, в Вилейском уезде, в Виленской губернии. «Шестьсот десятин с усадьбой и мельницей продавалось за семьдесят тысяч».

Имение действительно было хорошенькое, особенно в лу-

чах майского солнца: и сверкавшая на солнце Исса, и луга, и домик неплохой, и земля хорошая, несмотря на множество камней по полям. Но странное чувство охватывало нас всякий раз, когда слова переходили к делу: когда разговоры об имениях, одно другого краше и выгоднее, по словам комиссионера, сменялись трезвою действительностью, мы начинали понимать, что вовсе не так легко решиться поселиться в чужом гнезде и зажечь чуждою всем жизнью.

«То-то порадуетя Леля. «Кривичи» – одно название для него чего стоит?» – фантазировала я, подъезжая к этим Кривичам, а потом, потом? Давай Бог ноги вон! Из Кривичей Витя завез меня к Кехли, а сам уехал в Парфианово. Зябки были проданы тетушкой какому-то разбогатевшему мужику, который уже поселился в доме, а сами Кехли ютились, напротив, в длинном и низком доме, бывшей службе, на самом берегу красивого озера. Здесь, конечно, мне пришлось выслушивать все обычные рассказы Полины Владиславны о своей родословной, о польских магнатах и родственниках с ними связях. Старик Кехли был гораздо скромнее и довольно смиренно переносил постоянную воркотню супруги, которая вовсе не щадила его самолюбия. Но прелестная их дочь Бэби производила очень приятное впечатление.

Конечно, тетушка, любившая обо всем говорить с неподражаемым апломбом, взялась указать нам ближайшие имения, которые продавались. И когда Витя вернулся с ревизии, она направила нас к какому-то соседу, польскому графу, и в

Плиссе, верст за 15 от Зябок. Так как был праздник Троицы, мы решили съездить их посмотреть. Нам дали таратайку, запряженную в одну лошадь, с мальчишкой на козлах. Ехали мы песчаной дорогой, бесконечными сосновыми лесами, в жаркий майский день с красным солнцем из-за дымки дальних лесных пожаров. В имении графа нас встретил управляющий с негодующей физиономией: «Совсем имение не продается! С чего это вы взяли?» При этом была выпущена свора собак, испугавшая нашу кобылу. Она круто повернула оглобли и чуть не вывалила нас среди двора прямо в разинутую пасть собачьей своры.

В Плиссе нас встретили радушнее: хозяйка полька Лесневская угостила даже обедом, очень расхваливала «свою Плиссу», показывали свой дом с непременной особенностью в имениях этого края – креслами, в которых сидел Наполеон в 1812 году. Да и все герои Сенкевича жили именно в Плиссе или в ее соседстве.

После обеда она отправила нас на своей лошади за шесть верст в свой лесной участок. Лес оказался очень неважным, но тянулся по берегу озера редкой красоты. На противоположном берегу чернел казенный бор, составляя дивную раму. Вообще в Витебской губернии до двух тысяч озер, и многие из них очень красивы. Вот где место строить дачи, устраивать купания, но для этого надо было привлечь предпринимателей, капиталы, а прежде всего, сделать проездной дорогу в пять верст от станции Подсвилье. А пока это озеро в ле-

су представляло забытый Богом и людьми уголок, дичь, заросль, маленькую тайгу, и отделялось оно от имения Плисы большим старообрядческим селом, резко выделявшимся на фоне обычных, мирных белорусских селений. Пьяный гомон, в праздник дикие крики, мальчишки, бежавшие за нашей таратайкой, все это напоминало Поволжье, а над всем этим – тусклое солнце, запах гари!

Вернувшись в Плису, мы даже не могли дать надежду на вторичный приезд, откланялись и вернулись в Зябки. Здесь Витя купил у Кехли, продававших свой инвентарь, парный рессорный экипаж, почти новую бричку за сто тридцать рублей «для будущего имения».

И мы вернулись в Минск с пустыми руками, конечно, к общему удовольствию, особенно же Фомича, который очень боялся лишиться нас, своих клиентов, но в то же время ему хотелось сидеть в Минске из-за ремонта своих двух домов. Эти дома стояли на Широкой улице, на горе почти за городом, по ту сторону Свислочи, а за ними был большой яблоневый сад, который теперь был в цвету. Почти ежедневно после обеда мы шли в этот сад, так как Фомич и жена его Мария Николаевна были очень радушные люди: настоящие Пульхерия Ивановна с Афанасием Ивановичем. Витя особенно привязался к старику и считал его нашим единственным оплотом. Почуввав влияние Фомича на нас, комиссионеры донимали уже не нас, а его, а остроумные рассказы его по этому поводу превратились для нас положительно в потреб-

ность. К тому же Минск опустел, многие разъехались по дачам и деревням. Сослуживцы уехали в командировки, и даже Урванцева, вернувшись из Козельщины, собралась к дочери в Москву. Она много рассказывала про свою поездку. Оленька служила панихиду с певчими о Владимире Ивановиче и Софии Михайловне и много плакала. Все в Козельщине еще было полно воспоминаниями о них! Монашки особенно ухаживали за Оленькой, зная ее близость к семье Капнист.

Из Козельщины Оленька проехала в Губаревку, куда 16 мая уже приехал Леля с Ольгой Владимировной и Сашенькой. Там весна была необычная. Двадцать два года никто не помнил подобных дождей, такую свежесть зелени, такие надежды на урожай: в конце мая рожь уже стояла стеной, а в Минске было сухо и жарко.

Сидеть мне в городе без определенного дела было невыносимо, и мы с Витей еще раз вырвались на волю: первого июня мы были в Борисове, где у Вити было дело у предводителя Попова. Мы остановились у Шидловских, занимавших большую чудесную дачу с большим балконом, за городом, по эту сторону Березины, и вид с этого балкона на город, стоявший на левом, невысоком берегу Березины, был очень красив. Константин Михайлович<sup>168</sup> был в отъезде, в Петербурге, где решительно хлопотал о переводе из Минска. Он потерял терпение! Тата, наоборот, жалела оставить начатое ею так удачно дело, хотя и сознавала щекотливость своего по-

---

<sup>168</sup> Муж Натальи Петровны Шидловской.

ложения в Минске. Она давно звала нас к себе, чтобы съездить за тринадцать верст в Студенку, на место трехдневной несчастной переправы через Березину в ноябре 1812 года. Витю все отвлекали дела, а теперь не прибыли те наши спутники, которые уговорились с нами съездить в Студенку: учителя, хорошо знавшие местность и все окрестности, до Зембина включительно. Они хотели нам показать доисторические курганы, городища в окрестностях этого древнейшего поселения северо-западного края. Ехать без них не стоило, и мы сговорились вновь приехать в Борисов, когда они смогут предпринять эту поездку. К тому же они хотели нас познакомить с какими-то стариками в Студенке, отцы или деды которых много рассказывали о переправе Наполеона и о страшном опустошении тогда в Студенке, Борисове, а также показать целые коллекции блях, пуговиц и других металлических вещей, до сих пор вымываемых рекой. Что же касается самого города Борисова, сто раз сожженного дотла, в нем не было никаких достопримечательностей, кроме остатков французских батарей по взгорью правого берега, теперь заросших сосновым лесом. Но, конечно, мы улучили минуту посетить две-три церкви, расспросить священников. Один из них обещал прислать нам в музей очень древнее Евангелие и какие-то книги. После того и мы, и Татá пообедали у Попова. Жена его была очень красивая и милая женщина, немедленно приехавшая на дачу, как только узнала от Вити о моем приезде и, надо сказать, угостила нас тогда чудным

обедом. При нас Тата́ получила телеграмму от мужа из Петербурга, извещавшую о назначении его екатеринославским губернатором.

Закончив свои дела в Борисове, Витя вернулся в Минск, а я на обратном пути остановилась на станции Витгенштейн, чтобы заехать к моей милой попадье в Смолевичи недалеко, полторы версты от станции. Она очень уговаривала меня съездить с ней посмотреть небольшое имение Пикколини в двенадцати верстах от станции.

Смолевичи было ужасное еврейское местечко: куча деревянных, почерневших от времени домишек, ожидавших спички, чтобы вспыхнуть как костер, отсутствие всякой зелени. Совершенно сухие оголенные березы вдоль Екатерининского тракта, тянувшегося посередине местечка, кругом пустыри, болота, вырубленные леса. А когда-то это имение Константина Острожского в XVI веке, позже перешедшее к Радзивиллам, славилось своими лесами, смолокурнями, урожайными полями, пивными заводами и промышленностью. Смола, скипидар и английские брусья и до сих пор выделяются в Смолевичских лесах, но все это лишь остатки былого!

Переночевав у Родзяловских (супруг-священник показывал мне церковь, которую начинали строить под его наблюдением), рано утром мы с попадье́й выехали в прекрасной коляске на лошадях Сутина, высланных нам лесничим Кулэ, кажется заинтересованным в продаже «Пикколини», имения

Эйшицкого, еврея, сидевшего в тюрьме.

Дом оказался прелестным, вся обстановка, выписанная из Петербурга, видимо, стоила больших денег этому господину, женатому на русской крестьянке. Но все было опечатано, на каждом предмете висели печати. Я почувствовала страх соблазниться «внешностью»: двенадцать верст от железной дороги, станция Витгенштейн в одном часе езды от Минска, дом – маленький дворец, сад, попадья в соседстве такая хозяйственная и энергичная, обещает завести и руководить нашим птичьим и свиным хозяйством.

Но самого беглого обзора за два часа, проведенных в Пикколини, было достаточно, чтобы заметить, как тощи всходы, земля не уваживалась, лес вырублен, живого инвентаря никакого, а, главное, какая-то странная путаница: напрасно уверяла попадья, что дочь Эйшицкого замужем за итальянским графом, снимет запрещения и устранит все препятствия кредиторам и пр. То же уверял и Кулэ, ожидавший нас в Смолевичах, но я побоялась, и не без основания, так как имение продавалось наследниками Эйшицкого за долги, а дом с обстановкой принадлежал ему, и при малейшей описке в купчей мы могли бы получить четыреста шестьдесят тысяч песчаной земли и вырубленного леса за пятьдесят семь тысяч, а дом оказался бы чужим, обстановка тем более. Я вернулась в Минск к Вите опять с пустыми руками, хотя чудная обстановка еще долго мне мерещилась. Но я воспользовалась знакомством с Кулэ, управлявшим сорока тысяча-

ми десятин леса, чтобы просить у него сосенок и елочек для Губаревки.

Леля обожал хвойные деревья и уже с весны готовил ямки для сосен на сухой открытой песчаной поляне в Новопольском лесу, а для елочек ямки в сыром Дарьяле. Любезный Кулэ ценой грошового на чай лесникам, которых у него было восемьдесят человек, обещал осенью выслать тысячу этих деревцев в Губаревку, да еще сосновых семян для посева в грунт и одну пачку сушеной земляники детям для чая.

Конечно, все подробности наших неудачных поездок я сообщила «своим» в Губаревку. Теперь Леля был покойнее за нас. Его успокаивала та нерешительность, которая так сердила Оленьку в Вите: «Хорошо, что вы действуете осмотрительно, все-таки не трудно сделать ошибку, покупая что-нибудь или вкладывая в какое-нибудь предприятие деньги. Не сердись, пожалуйста, за мое брюзжание и ворчание. Меня это живо затрагивает», – писал он еще в мае<sup>169</sup>, а в июне он рассчитывал, что спас хоть одну из нас: «В особенности не соединяйся с Оленькой, – писал он мне. – Это будет источником постоянного для тебя мучения и беспокойства. Другое дело, если с покупкой имения соединяется приобретение ценза для получения места предводителя. Но и в таком случае лучше действовать отдельно. Ведь ценз не очень велик. Безусловно необходимо для твоего и Оленькиного спокойствия обратить ее деньги в %-е бумаги. Напиши, пожалуйста

---

<sup>169</sup> Письмо А. А. от 5.5.1909.

ста, возможно ли? Оленька нет-нет и возвращается сама к этой теме, решительно предпочитая теперь покойное получение своего небольшого, но верного дохода – другим перспективам». <sup>170</sup>

После провала Бенина и отъезда в Губаревку, Оленька действительно начала охладевать к нашей затее, а Леля к тому убеждал ее не рисковать: «Кузнецов напугал Лелю, – писала она, – что непременно все с землей прогорают, что более 6 % ровно никакое дело не даст, что винокуренный завод может стать, или явится конкуренция, или Иван Фомич умрет, или уйдет, или ремонт придется делать». Тот же Кузнецов при свидании с Лелей в Москве напугал его и закладными: очень опасно давать деньги под дома, владелец дома имеет векселя, о которых и не узнаешь, или он в будущем их наделает, так лучше купить бумаги на пять процентов. А опять и опять искать новых имений я уже право не сочувствую, т. к. вижу, как это сложно и трудно.

С этим пришлось помириться. Если мы еще и станем рисковать своими деньгами, то Оленьке, заплатив все проценты с 15 апреля, мы возвратим деньги, взяв на себя все убытки по размену, переводу и пр. Приходилось сознаться, что добыть земли мудрено. Прав был один польский помещик, когда говорил Вите: «Ничего вы здесь не найдете: за порядочное имение крепко держатся, а на рынке один хлам!» И мы забросили наши уроки географии. Уроки истории тоже ста-

---

<sup>170</sup> Письмо А. А. от 10.6.1909.

ли: младший сын Снитко заболел, потребовалось его отвезти и с ним прожить часть лета в Крыму. И экспедиция в Туров была отложена. К тому же я была занята предстоящим отъездом Татá. Она сначала настаивала, чтобы я приняла все ее дела и приют на себя. Но я решительно отказалась. Тогда она передала их жене корпусного командира Новосильцевой, очень красивой и милой женщине. Их дом был редкий дом в Минске, где к Татá относились вполне благожелательно и ни в какие Минские дрязги не входили. Но Татá все-таки тесно связывала меня с приютом святой Ирины, о котором мы столько с ней хлопотали, и поручала его и мне. Так как Новосильцева морально была головой выше всех остальных минских дам, мне с ней было по душе.

Губаревские письма также меня радовали, хотя в каждом письме напоминалось, что надо скорее к ним приехать. В двадцатых числах июня гостил Борис Зусин со своей чрезвычайно симпатичной женой. После их отъезда Леля, принимавший в то лето живейшее участие вместе с детьми в уборке отличного сена (лето было великолепное), собрался 22 июня в Корбулак, к мордве. «Иначе, – писал он, – я не могу закончить своей книги, которая должна выйти осенью».

Поездка Лели была удачная: «Съездил очень хорошо в Корбулак. Пробыл там три дня в самой напряженной работе. Вернувшись в Губаревку, увидел, что фонограф испортился. Явилась мысль ехать в Саратов, и поехали вчетвером: Шунечка, Олечка, Альма Ивановна и я. Олечка очень

радовалась возможности увидеть Саратов; мы показали ей Волгу, прокатили в Покровскую Слободу, затем обедали в Приволжском вокзале. Хозяйственные дела идут благополучно. Все время работаем с сеном. Теперь убираем могоар<sup>171</sup> и т. д.».<sup>172</sup> Могоар, так же, как и сераделла, были мной высланы ранней весной для искусственных лугов, приготовленных при мне осенью в Губаревке, и Леля радовал меня сообщая: «С радостью смотрю я на зеленеющие луга с посеянной травой. Это мы тебе обязаны».<sup>173</sup> Еще более радовали его яблоньки, присланные в апреле из Минска. Это были не обычные наши чахлые присадки, двухлетки, а яблоньки четырех-пяти лет с великолепной мочкой. С осени разбитый и распланированный сад на сто семьдесят яблонь уже принялся отлично, и Леля особенно радовался ему, т. к. сад занял большую площадь за его летним домом, с видом на него с террасы на гумно.

Но в то время, когда Леля работал в Корбулаке, в любимый мной с детства праздник Ивана Купалы мы с Витей, засидевшись в Минске, еще раз вырвались из него. Купить что-либо дорогое мы не могли уже рассчитывать, решив вернуть Оленьке ее деньги, но мы хотели еще попытаться так обернуться, чтобы покрыть наши уже значительные расходы, лишившие нас лично до двух тысяч рублей (размен денег, про-

---

<sup>171</sup> Щетинник, итальянское просо. – *Примеч. сост.*

<sup>172</sup> Письмо А. А. от 4.7.1909.

<sup>173</sup> Письмо А. А. от 14.7.1909.

центы Оленьки, разезды и пр.), словом, отыгаться и вернуться к первобытному состоянию (!). Комиссионеры перестали даже заходить к Гринкевичу, который был поглощен окраской своих домов в какой-то дикий кирпичный цвет. Но вдруг выручил нас Мышалов, торговец шляп на Губернаторской улице, у которого Витя утром заказывал летнюю фуражку и жаловался, что не может найти себе имение. Через час Мышалов уже привел с собой поверенного графа Платера, и оба стали уговаривать купить имение Альт-Лейцен, бывшее графа Платера, за Двинском: «Совсем недалеко! Но что за имение! Такого имения во всей Минской губернии не сыскать! – в два голоса упрашивали они. – Даже не купить, а взглянуть на него стоит!» Кончилось тем, что Витя взял недельную отлучку, и мы выехали в Альт-Лейцен. А вдруг там, в Курляндии, мы и найдем что-либо подходящее?!

Мы прибыли в Двинск ночью. Утром были в Штоксмонгофе, Рига-Орловской железной дороги. Оттуда по узкоколейке потащились на станцию Мариенбург, где нас ожидала коляска четвериков, высланная поверенным графа Платера, прибывшим раньше нас в Альт-Лейцен. Дорогой нас поразило, что всего в нескольких часах от Двинска мы точно попали за границу: начиная с уютной, обвитой витисом Штоксмонгофской станции, где нас угощала кофеем настоящая немка, тянулись живые изгороди по обе стороны пути; прекрасно обработанные поля, а от станции шло чудесное шоссе, обсаженное старинными деревьями, попадались

фермы с черепичными крышами, каменные риги. Словом, Курляндия, культура! Значит, не почва, не климат виноваты, когда тут же в Белоруссии начинается дичь, бездорожье, безлюдье, болота в кочках, пустыри и обглоданные леса!!! Никогда не было мне так больно, обидно и жалко свою Русь, как в это утро!

Осмотрели мы Альт-Лейцен как следует. Целый день проездили по лесу. Чудный, нетронутый лес! Какие сосны, какие ели! Что за воздух в этом лесу! Какие озера, фольварки, заводы скипидарные, лесопильные, сыроварни! Дом деревянный, низкий, но очень большой, хотя и разоренный, совсем без мебели. Когда-то здесь кипела жизнь, здесь выращивались поколения Майендорфов. Да, здесь можно было поселиться и хозяйничать, как хозяйничали здесь много лет, пока граф Платер, сам отличный хозяин, не сделал владельцем имения какого-то хищника Кана, который успел уже на все наложить свою руку. Мы это поняли из слов священника русской церкви у самого шоссе из Пскова на Верро и взглянув на ужасный лесорубочный контракт, по которому большая часть этих лесов сводилась на нет. Когда же я, хотя и самым поверхностным образом, просмотрела приходо-расходные книги, чтобы понять, что это за двадцать тысяч чистого годового дохода, о которых толковал нам поверенный, мы поняли, что никакого чистого дохода в Альт-Лейцене нет! Я нарочно обратила на это внимание поверенного. Он рассмеялся:

– Да если бы имение давало двадцать тысяч, разве граф Платер продавал бы его?

– А сколько же оно дает теперь?

Определенного ответа не последовало. Но в противовес Губаревским дождям июньская засуха уже погубила хлеба и травы. Предстояло даже покупать рожь для прокормления скота и работников-латышей. Последние праздновали этот день Ивана Купалы, пришли к нам под окна в венках цветов и пели дикими голосами на непонятном говоре. Мы дали им на чай, случайные господа в этом заброшенном доме.

Когда на другой день мы покинули Альт-Лейцен, мы, по крайней мере, уносили впечатление о чем-то красивом и могучем! Здесь можно было работать; здесь дышало сытостью, несмотря на грозящую засуху. Быть может, и напрасно мы не остановились на этом имении, испугавшись лесорубочных контрактов. Витя мог бы перевестись служить в Курляндию. Ехали мы обратно по шоссе на Мариенбург, через местечко, прекрасно расположенное на берегу великолепного озера. Это была родина той Екатерины, память о которой в эти самые дни так торжественно праздновалась в Полтаве. Мы остановили лошадей, вышли с Витей из коляски и осмотрели старинную кирку, пастор которой тогда приютил Екатерину.

Удивительно красивое местечко! Оно буквально утопало в зелени, каменные опрятные домики до самых крыш были обвиты гирляндами зелени и цветов. Вернувшись в Двинск, мы повернули на Полоцк, куда и прибыли в пять часов утра

после совершенно бессонной ночи в душном вагоне. Тихо, безлюдно было на улицах древней столицы Полоцкой земли!

Мы не расставались с «Россией» Семенова, когда ездили в поисках за землей, и называли его коротко «Спутником», и теперь в шесть часов утра, за чаем у открытого окна небольшой гостиницы, скорее, постоялого двора, я громко читала Вите описание Полоцка и его историю. Затем мы осмотрели его неважные достопримечательности и направились домой, в Минск, по Полоцкой дороге на Молодечно. Но на полпути вышли на станции Полсвилие, чтобы заехать в Куровичи, имение, о котором Витя переписывался с минским помещиком Григоровичем, опекуном малолетних Глинских, владельцев Куровичей Лепельского уезда: тысяча семьсот десятин, цена девяносто пять тысяч, несколько фольварков, имение очень удобное для «порцеляции». Нам нужно было усадьбу с небольшим хозяйством, но с возможностью отпродать лишнюю землю, поэтому, взяв лошадку на станции Подсвилие, мы потащились по ужасной дороге за шесть верст в усадьбу Куровичей. Боже! Что за ужасное впечатление! Когда-то, по-видимому, это была богатая усадьба польских помещиков Глинских. Но они разорились. Глинский проигрался в карты и убил у себя в доме того, кто его разорил. Несчастный убийца теперь скитался в Петербурге, чуть ли не по ночлежкам, а управляющий, заменивший владельца, вконец разорил имение и сжег дом, чтобы скрыть отчеты и документы. На очень высоком обрыве, над гладким зеркаль-

ным озером стояли массивные, кирпичные колонны сгоревшего дома. По склону горы за домом к озеру спускался запущенный сад, в котором белели в большом количестве кости лошадей. Нам сказали, что варвар-управляющий Ясневич самолично их стрелял здесь. Сколько ужасов было пережито в этой усадьбе! Не только поселиться, даже переночевать в ней, в небольшом флигеле, мы бы не решились!

И вот опять мы вернулись в «Гарни»! Альт-Лейцен все-таки было чудесное имение! За него просили двести тысяч, с комбинациями, но страшный лесорубочный контракт вязал руки. Неутешен был Мышалов: он давал нам хорошее имение, по совести, потому что в его интересах было привлечь внимание публики к своему шляпному магазину. «При удачной покупке нами Альт-Лейцена, конечно, губернатор, Урванцев и другие высокие господа стали бы покупать шляпы исключительно у него!» – говорил он, печально качая головой.

## Глава 8. Июль 1909. Веречаты и Щавры

Мы только что вернулись из Смолевичей: моя попадья устроила благотворительный спектакль. Сама в роли тещи в водевиле «Теща в дом, все вверх дном», попадья была бесподобна, и вообще весь спектакль в большом сарае и все прочее, до угощения жареным поросенком за ужином включительно, прошло с большим подъемом. Публики было много и, благодаря Татá, всегда готовой участвовать в благотворительных деяниях, немало приехало «высоких гостей» из Минска. Кроме Татá со всеми детьми, был и ее брат Корветто, недавно женившийся на очень милой вдове Гаршиной (из Тамбовских). Татá надеялась, что эта молодая женщина, видимо, с характером, сумеет, наконец, прибрать к рукам ее легкомысленного брата.

Витя после спектакля вечером же вернулся в Минск, а я осталась ночевать у Татá, в Борисове. Я радовалась за нее: она избавится от «осинового гнезда». Назначение Константина Михайловича было блестящее, он был самый молодой губернатор в России, но жаль было с ними расстаться. Татá с болью отрывалась от любимого дела. Утром мы пили с ней кофе на обширном балконе дачи с красивым видом на город Борисов, закутанный не то дымом, не то утренним туманом. К обеду надо было вернуться в Минск, где становилось скуч-

но, жарко, душно: не спасали и два балкона. Ничего не может быть скучнее лета в городской обстановке!

Дома меня ожидало письмо из Губаревки. Оленька писала длинное, жалобное письмо. Она просила не слушать опасений Лели и ворчания Тети, которые считают нас уже погибшими. Она решительно не хочет ни процентов бумаг, ни закладных, она хочет с нами купить земли с усадьбой. Непременно с усадьбой! Я не стану здесь приводить этого письма.

Скажу кратко, что русская пословица говорит о тесноте для двух медведиц. В этом был, в сущности, смысл всей нашей затеи, важнее всех приводимых пунктов в письмах моих к Леле. В этом была зарыта собака! Но даже намекнуть Леле на это нельзя было! Достаточно, что я ссылалась на его будущих зятьев, но, конечно, не в них было дело. Вопрос был в том, что Леля лишил Шунечку голоса и значения в домашнем хозяйстве Губаревки, чтобы оградить от малейшего столкновения с ней Оленьку и Тетю, Тетушку, которая должна была себя чувствовать по-прежнему полновластной хозяйкой в Губаревке. Но как относилась к этому молодая хозяйка? Она уже провела в Губаревке четырнадцать лет, как на даче, но нравилось ли это ей? Сначала бессознательно, потом очень сознательно понимала я, что теперь же, не нарушая мира в семье, в особенности не огорчая Лели, который не допускал и мысли о возможном отсутствии Тети или Оленьки летом в Губаревке, теперь развязать руки Наташе, дать ей голос и значение в Губаревке и в то же время облег-

читать судьбу моей бедной Оленьки, которая каждое лето вертелась, как уж на сковороде, между претензиями, требованиями и сплетнями слишком большого штата прислуги двух различных хозяйств.

Ссоры и пикировка «столичных» с нашими «деревенскими» вызывали глухое недовольство, а иногда и с трудом скрываемые обиды обеих сторон. Леля властно тушил эти огоньки возможной вражды. Шунечка глотала слезы и готовые вырваться жалобы Леле; и Оленька умалчивала, как тяжело ей переносить недовольство ею: она так старалась, так уставала за день в хлопотах по хозяйству, но ведь и почтенные патриархи Авраам и Лот сочли за благо расстаться только из-за столкновения домочадцев своих слуг! Нет, конечно, если бы Тетя с Оленькой покинули Губаревку, для Лели это было бы большим горем. Но знать, что какова пора не мера<sup>174</sup>, есть куда уехать в свое собственное гнездышко, являлось бы моральным утешением для Оленьки. К тому же ее постоянно крушила забота о своих «*épaves*»<sup>175</sup>, как называла она целый ряд своих друзей, которым летом некуда было деваться за неимением средств для дачи. Некоторые из них приезжали на все лето в Губаревку, но это тяготило и Тетю, и семью Лели, становилось тесно. Сестре только что пришлось

---

<sup>174</sup> «Вывезет – хорошо; не вывезет – дожидайся случая. А между прочим, поглядывай. Какова пора ни мера – не упускай, а упустил – старайся быть». М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонские рассказы.

<sup>175</sup> Здесь: жертвы кораблекрушения (фр.).

отказать двум подругам-институткам, которые без деревенского режима не могли поправить свое расшатанное здоровье, и это ее ужасно огорчило. Витя давно знал о всех этих «нюансах», переживаемых нами. Он знал, что и зимой еще Оленька главным образом искала не проценты, а своего угла, совместно с нами.

Случалось, когда мы проводили ночь в дороге, в пересадках, Витя шутливо вздыхал: «Ах, Оленька, Оленька! Ведь она спит теперь и сны видит, а мы-то за нее хлопочем!» Но Леля так болезненно относился к тому, что мы с Витей три года тому назад выехали из общего гнезда, что даже намек на медведиц и Авраама с Лотом нельзя было допускать, все это могло быть еще поставлено в вину Шунечке, которая смиренно покорялась решительной воле Лели в этом вопросе. Но злоупотреблять этим было нельзя! Длинное письмо сестры опять подняло все прошлогодние намерения. Теперь или никогда мы должны еще раз напрячь все наши усилия, чтобы создать себе то, на что в Губаревке мы не имели морального права. Я не говорю о Тетушке, но мы с сестрой, получив по разделу свою долю, обязаны были дать дорогу Наташе и затем ее детям. Олечке уже минуло тринадцать лет, а за ней поднимались еще две душечки. Наши ласки и сбережения останутся для них, но, любя их, мы должны были дать им и свободу считать себя в своей, неотъемлемой, неделимой Губаревке полными хозяйками.

Мы сидели на балконе после обеда: я перечитывала это

письмо сестры, Витя кончал недочитанный утром номер Нового Времени. Он всегда пробегал в конце номера объявления о продаваемых имениях. Теперь в числе их было какое-то имение на Двине. По описанию, конечно, «чудесное имение». Предложение шло из Вильны. «Съездить? Узнать?» – воскликнул Витя. Но ему до воскресенья нельзя было отлучиться от службы! Поехал «Король прусский»<sup>176</sup>.

Утром на другой день я была в Вильне в комиссионной конторе по адресу публикации. «Чудесное имение на Двине» продавалось только потому, что два немца, одинокие старички семидесяти лет, братцы, надумали ссориться и решили делиться. Мне показали планы и условия описи. Интересно, но, конечно, надо посмотреть, и я сговорилась в ближайшее воскресенье приехать с мужем к ссорящимся братцам. Все это было дело получаса, а до поезда нечего было делать! Будь это Леля, он, конечно, побывал бы в музеях и библиотеках, но у меня на уме было только одно: купить земли с усадьбой! Я что-то не особенно верила в мотив продажи имения братцев! Ссориться, прожив 70 лет вместе? Верно, опять какой-нибудь серьезный фелер<sup>177</sup> в надежде: авось до купчей не разберутся!

Кого бы спросить, прежде чем подниматься с Витей на Двину? Я вспомнила, что в Вильне должен быть Бернович и, зная его адрес, послала за ним посыльного. Бернович был

---

<sup>176</sup> Одно из многочисленных прозваний, которыми награждал меня Витя.

<sup>177</sup> Fehler – недостаток (нем.).

молодой человек, неожиданно посетивший нас еще в конце мая с рекомендательным письмом того Бурхарда, ловца дельфинов, которого мы встретили в феврале в Петербурге у Граве, после провала имения Федово-Кучково. Он тогда обещал нам прислать описи лучших имений, продаваемых в северо-западном крае. Теперь он прислал нам несколько таких описей и писал, что мы можем вполне довериться молодому Берновичу: это не комиссионер по профессии, а агроном, сын богатого польского помещика Слуцкого, вынужденный временно покинуть отчий дом по семейным обстоятельствам, о которых лучше с ним не заговаривать. Ну, конечно, мачеха завелась, а то и бель-серы<sup>178</sup>, сообразила я.

Леон Юрьевич Бернович, очень стройный, горбоносый, с лицом Мефистофеля и умными, хотя хитрыми глазами, произвел на нас впечатление очень воспитанного и приличного человека, но предложенные им тогда условия нас стеснили и удивили. Он решительно отказывался от всякого гонорара и куртажа. Говорить даже об этом он считал за оскорбление и брался на свой страх и риск разыскать нам имение, только непременно большое, для того чтобы распродать его с расчетом, выручить обратно капитал и получить себе центр имения с усадьбой плюсом, т. е. даром. И тогда, только из чистой прибыли, он позволит себе удержать 25 %, и то, конечно, после покрытия всех расходов. Мы не верили ушам! «А до тех пор Вы будете разъезжать за Ваш счет?» – допытыва-

---

<sup>178</sup> Belle-soeur – невестки (фр.).

лись мы. «Да. Это мое дело, и вас не касается», – ответил он немного сухо и строго. При этом, надеясь на свой опыт, а также на описи Бурхарда, он разрешал продолжать нам, со своей стороны, наши поиски и просил только об этом его предупредить. Он уверен, что и тогда он сможет быть нам полезен, оградит от возможных обманов комиссионеров и, как агроном, сумеет дать нам полезные советы в хозяйстве. Удивительные условия!

– Ну, а что же Вы получите взамен Ваших трудов? – не унимались мы.

– Повторяю Вам: двадцать пять процентов из чистой прибыли.

– А если этой прибыли не будет?

– О, я этого не допускаю! Я всегда бью наверняка! Но только я требую одного: полного доверия с вашей стороны, а также полную гарантию самостоятельности в деле, которое я Вам представлю. Согласны? Тогда я выезжаю на осмотр уже намеченных мной имений.

Как было не согласиться? Вскоре затем Бернович уехал. Уже в июне, когда мы с Витей уезжали даже в Курляндию и забраковали все предложенные имения, он сообщил нам, что все имения по описям Бурхарда тоже никуда не годятся, но что он разыскал, наконец, отличное «парцелляционное» имение Панцырева, в 35 верстах от станции Парфианово, Минской губернии по Полоцкой железной дороге, без усадьбы. «Без усадьбы? На что нам тогда имение? Какая там пар-

целляция, Бог с ней», – ворчала я. Витя же поехал справляться в банк, в котором имение это было заложено, и отзывы о нем получились такие неблагоприятные, что мы ответили Берновичу, что наша цель приобрести усадьбу при имении, а не парцеллировать. Бернович обиделся и совсем скрылся с нашего горизонта. Теперь я вспомнила о нем. Он жил в гостинице, проводя какие-то дела, и немедленно, очень любезно приехал на мой зов. Он прежде всего поднял опять вопрос о Панцыреве, настаивая на выгодности этой покупки, и решительно не соглашался с приводимыми мною доводами: все это одни интриги банка! Не хотел он понять и того, что мы ищем усадьбу, а не наживы. Словом, мы говорили на разных языках.

Но потом мне стало его жаль: по его словам, он ездил чуть ли не в Ковенскую губернию, до Шавли, что по описям Бурхарда, а так как о возмещении его расходов нельзя было даже заикнуться, не слыша его возмущения и протестов, я подумала, что мы сможем их возместить, если привлечем его к хозяйству в имении, на покупку которого мы еще не теряли надежды. Я сообщила ему об имении братцев на Двине и о нашем решении поехать взглянуть на него в ближайшее воскресенье, и он обещал поехать с нами.

После того он проводил меня на поезд, а в девять часов Витя встретил меня на Виленском вокзале.

– Нашла? Нашла? – нетерпеливо спрашивал он меня, смеясь и усаживая меня в коляску «Гарни».

– Да..., да..., – отвечала я, но так неуверенно, что Витя перебил меня:

– Не нашла? Ну, а я нашел! Без тебя мне сделали два предложения и на этот раз – хорошие!

Витя был так радостен, он так весело рассказывал о предложениях двух «серьезных комиссионеров», что мои братцы на Двине мгновенно отошли в сторону. Витя особо позаботился об ужине, чтобы вознаградить меня за напрасную поездку в Вильну, и мы весь вечер проговорили о новых перспективах. Бант и Каган были те «серьезные» комиссионеры, которые представили теперь свои описи имений. Одно в Виленской губернии, другое в Могилевской, но то или другое, чувствовали мы, должно решить нашу судьбу и положить конец нашим терзаниям, длившимся уже целых шесть месяцев! Бант был тот комиссионер, который в феврале предлагал нам Жодино Славинского и, конечно, не мог простить Фомичу, этому «сварливому старику» провала Жодина, а Кагана прислал Мещеринов с рекомендательным письмом: «честнейший человек, который много лет ведет все дела в Староборисовской экономии»<sup>179</sup>. Бант предлагал «лучшее имение» Виленского уезда Веречаты, а Каган предлагал Щавры, хотя и Могилевской губернии, но всего в трех часах езды от Минска, недалеко от станции Крупки по Московско-Брестской железной дороге. Которое из двух? В

---

<sup>179</sup> Имение великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича. Дмитрий Петрович Мещеринов управлял этим имением.

этом одном теперь был для нас вопрос: больше колебаться, медлить, откладывать мы не хотели! Нужно было решаться! Ехать самим значило обязательно провалить дело.

На меня нападала невыразимая тоска, как только я видела чужую усадьбу, в которой нам предстояло жить. Витя же горячился и придирался ко всем мелочам. Мы решили опять воспользоваться услугами Гринкевича и Берновича. Бернович немедленно приехал по нашей телеграмме. Он с радостью согласился осмотреть для нас имение. Согласен был и Фомич. Но как распределить их роли? Агронома и человека энергичного и свободного, не задавленного заботой о своих домах, как Гринкевич, нам хотелось послать в Веречаты. Там все хозяйство было уже на ходу: винокуренный завод, пятьдесят дойных коров, свой посев, урожай которого уступался нам целиком. Земля пшеничная, хороший лес, а в усадьбе прекрасный дом с четырнадцатью комнатами, вполне меблированный, до рояля включительно, хорошие экипажи, лошади. И все это за 150 тысяч, также как Щавры, но в Щаврах хотя и была усадьба, но хозяйства не было никакого, все было отдано в аренду: только больше было земли. Все наши симпатии были, конечно, на стороне Веричат, но вдруг Бернович, сдержано волнуясь, просил не посылать его в Веричаты, потому что Козеля-Поклевский, владелец Веричат, был женат на Галке, а она была кузиной некоего Галки, который разорил его, и он, Бернович, боится за свое при страстие в этом деле, боится не быть справедливым к кузине своего смер-

тельного врага. Такое благородство нас, конечно, тронуло, и мы предложили ему ехать в Щавры. Услыша о Щаврах, Бернович сразу оживился, так как в Вильне много слышал об этом действительно прекрасном имении Лось-Рожковских, но, добавлял он, купить его нельзя из-за бесчисленных на нем запрещений. Каган божился, что бояться нечего: запрещения у старшего нотариуса точно зафиксированы. Правда, Щавры нельзя купить без денег, «с одними комбинациями», как обыкновенно покупают здесь имения, но с наличными в сорок тысяч как же не купить?! Только сорок тысяч и требуется. Сто тысяч Московскому банку и десять тысяч останется под закладную на целый год. Доводы Кагана были убедительны, и Бернович решил ехать.

Восьмого июля он выехал в Щавры, направо от Минска, а Фомич – в Веречаты, налево, к великому неудовольствию Банта. Перед отъездом мы, хотя и с большим трудом, убедили Берновича взять у нас сто рублей на необходимые расходы.

С нетерпением ожидали мы известий и телеграмм от своих посланцев, рассчитывая их самих видеть не раньше трех-четырёх дней, но вдруг неожиданно Фомич явился на другой же день! Он уверял, что его смутило то, что ему не дали плана имения, потому что землемер все лето с ним работал и куда-то уехал, что он боится, как бы его без плана не завели в чужой лес, как это практикуется! «Сварливый» старик умолчал, что он на первых же порах вступил со старой панной

Козелл в спор: «Я не дам задатка до купчей, – счел он себя вдруг в праве пуститься в подобные рассуждения. – Я еще пришлю оценщика банка». (Веречаты были не заложены, и нам предстояла большая канитель: заложить имение и тогда ссудой банка расплатиться за него.) Старая дама пришла в бешенство и стала на него кричать: «Как?! Не доверять нам задатка?! Вызывать оценщика банка до нашего выезда? До купчей?» И Фомичу была показана дверь.

Немедля, в одиннадцать часов ночи, в проливной дождь он вылетел на станцию к утреннему поезду, а вечером был у нас. Бант пришел в ужас. Он не хотел мириться с подобными результатами: Веречаты пользовались слишком хорошей репутацией первоклассной земли и прекрасного хозяйства. Они продавались исключительно по семейным обстоятельствам. Поэтому он не успокоился, пока не уговорил Витю ехать с ним в Веречаты: сварливый старик умел только портить!

Сообщение Минска с Веречатами оказалось совсем неудобным: пересадка в Вилейске, пересадка в Свечянах, пересадка в Поставах и двадцать верст лошадьми. Это обстоятельство сразу окатило меня холодной водой.

Витя поехал с Бантом. В Поставах их ожидала коляска Козелл, четвериком на вынос. Ожидал еще другой экипаж, запряженный парой вороных коней, потому что одновременно с ними высадилось еще три субъекта, которых Бант представил как поверенных генерала Клейгельса, едущих тоже по-

купать Веречаты. Такая конкуренция нисколько не смутила Витю, тем более что Бант слишком подчеркивал это обстоятельство: слишком было ясно, что это подставные покупатели.

В Веречатах гостей встретили очень радушно: был сервирован прекрасный обед, была подана старка, несколько бочек которой хранилось в погребе (они стояли и в описи имения). Семью Козелл-Поклевских составляли: семидесятилетний старик отец, тип старинного польского помещика-джентльмена, крайне воспитанный, деликатный, в то же время славился в уезде своим хозяйством. Супруга его урожденная Галка, по-видимому, добрая, но гоноровая полька, и дочка, жена помещика Шишко с семилетним сыном. Но она бросила своего мужа и привезла в отцовский дом артиста, из-за которого теперь рушился весь дом и продавалось имение, чтобы она могла уехать с ним за границу, так как Шишко не давал развода и получался большой скандал. Убитые горем родители собирались, обеспечив дочь, от которой отвернулась вся родня, переехать на остатки к оскорбленному своему зятю.

За обедом поверенные генерала Клейгельса забыли свою роль и под влиянием старки горячо стали уговаривать Витю решиться на покупку Веречат. Витя очень любезно им возражал, это еще более их подзадорило, и они совсем забыли, что приехали исключительно ради интересов Банта. Тем не менее Вите очень понравилось все имение. Это было старин-

ное дворянское гнездо, четыреста лет бывшее в одном роду, еще не тронутое «чужими руками» и действительно не бывшее на рынке. Весь строй жизни в нем был патриархальный: Козелл были окружены преданными им людьми, всю жизнь прожившими с ними: старая семидесятилетняя англичанка, воспитавшая на свою голову эту романтическую даму, старики лакеи семидесяти пяти лет, повар. Бог ведает, что они, бедные, теперь переживали, когда из-за дочки их хозяина, артиста, рушилась вся их жизнь их. А что переживали родители, жертвовавшие своим покоем и всем достоянием, чтобы скрыть свою дочь от позора!

За обедом и общим разговором цена в сто пятьдесят тысяч, казавшаяся Вите слишком высокой, была сбита Бантом до ста пяти тысяч (!). Еще торговаться нельзя было, и Витя решил купить! Было сговорено через неделю всем съехаться в Вильне, чтобы писать запродажную с задатком в двенадцать тысяч.

Витя вернулся в Минск пресчастливым. Веречаты, как прекрасное имение, было хорошо известно в Минске: Эрдели и сослуживцы горячо поздравляли его и очень одобряли выбор. Хоть и долго мы искали эту жемчужину, но сумели ее найти! Одновременно с приездом Вити нам подали телеграмму от Берновича: «Слова Кагана вполне оправдались. Еду Могилев навести справки у старшего нотариуса, в крестьянском присутствии в окружном суде». Через день он и сам приехал, проведя в Щаврах целую неделю. Он пред-

ставил нам очень обстоятельный доклад. По его мнению, в Щаврах легко отпродать две тысячи десятин, а пятьсот десятин оставить себе в центре с усадьбой и красивым парком. И на этой операции еще заработать семьдесят тысяч! Доклад был подробный, обоснованный. Бернович лично объехал каждый фольварк, каждое урочище. Им были взвешены все качества и недостатки, все «возможности» каждого из них, безошибочно. Только о цене в сто пятьдесят тысяч, сообщенной Каганом, нечего было и думать! Узнав о ней, супруги Судомиры (старшая дочь Лось-Рожковских была за инженером Судомиром, который и продавал это имение) были возмущены, уверял Бернович, и сказали, что на порог не пустят к себе Кагана, поэтому ему, Берновичу, стоило большого труда сбить цену на 160 тысяч, цену баснословно дешевую. Судомиры, как поляки, упрекали его даже в измене польским традициям в пользу русских! Берновичу пришлось очень много спорить, убеждать: имение дивное и, конечно, стóит гораздо дороже! А какое сообщение! Четырнадцать верст от магистрали Московской железной дороги, в трех часах езды от Минска!

Витя, считавший, что Веречатами дело уже решенное, не особенно поддавался всем этим прелестям, он слишком увлекался Веречатами. Но я упростила его съездить в Щавры для очистки совести и ради Берновича, который был в отчаянии потерять Щавры.

Двадцать шестого июля Витя выехал в Щавры с почтовым

поездом в девять часов утра. В девять часов вечера он был уже обратно. Он провел в Щаврах всего несколько часов, но счел этого достаточно, чтобы вынести, в общем, совсем неприятное впечатление, и еще с дороги, со станции Крупки, он телеграфировал мне условное «нет», что по нашему уговору означало, что имение ему не понравилось. Не понравились ему владельцы, думала я, немного разочарованная рассказами Вити о владельце Щавров Судомире с женой и свояченицей, о которых в Вильне плелись не совсем благоприятные слухи.

Коган прилетел вслед за Витей, очень огорченный, и уверял, что Витя ни на что не смотрел, а когда его водили по парку, он, видимо, мысленно совершенно отсутствовал: да, Вите нравились Веречаты!

На другой день мы перевели в Виленский банк двенадцать тысяч на условленный с Козелл-Поклевским задаток и решили вторично командировать Ивана Фомича в Веречаты. Он должен был там сидеть и составлять все описи, принимать инвентарь и урожай, который ожидался прекрасный, потому что, получив задаток, Поклевские были намерены немедленно, первого августа, выехать из имения. Но Витя захотел, чтобы я тоже непременно, до запродажной, съездила посмотреть Веречаты, да непременно с Берновичем, чтобы и его не отстранять, дать ему возможность получить заработок своими «агрономическими» знаниями, на которые мы рассчитывали для ведения у нас хозяйства. Не откладывая, я собралась

с Берновичем в путь. Доехали до Лилейска – пересадка. До Новых Свенцяи – пересадка и, что хуже, неизбежная ночевка в Новых Свенцянах у сторожа вокзала, потому что только на другое утро в восемь часов отходил единственный в сутки поезд по узкоколейке. Эта узкоколейка, длинную в сто девятнадцать верст, шла от Новых Свенцяи, станции Варшавской железной дороги почти прямой линией на восток, к Полоцкой железнодорожной линии, хотя и не доходила до нее четырнадцать верст, обрываясь пока в большом местечке Глубоком. Она была выстроена несколькими владельцами богатых имений, которые она обслуживала: пересекались пшеничные поля и нетронутые мачтовые леса в большом порядке. Вся местность близь Постава, на полдороги, была хорошо известна в военном мире из-за почти ежегодных парфорсных охот. Поезд с маленькими вагонами хотя и летел со всех ног по рельсам, но на станциях так долго стоял для погрузки, что пассажиры и кондукторы по-домашнему уходили в лес за цветами и грибами.

Мы приехали в Постава в полдень. Это великолепное имение Пржездецкого с чудным дворцом. У вокзала нас ожидала коляска четверкой знаменитых «клячек» госпожи Козелл-Поклевской в краковской упряжи, видимо, предмет гордости хозяйки. Проехали двадцать верст по песчаной дороге. Было жарко. В Веречатах нас встретили очень радушно: хозяин учтив и серьезен, хозяйки любезны, болтливы, нервны. Героиня в каком-то ярком красном балахоне, актер

в таком пышном полосатом галстуке, что Фомич, три дня уже сидевший там и встретивший нас с радостью забытого человека, не скрывая удивления, выпучил на него глаза: «Ну, уж и нарядились же, – громко проворчал он, – просто никого не узнаешь!»

Ожидали нас с обедом и старкой для мужчин. Дамы весь обед болтали по-французски и по-польски. Фомич только пожимал плечами, и я уже за обедом по лицу его поняла, что дело опять плохо. После обеда меня повели в липовый парк, причем дамы ужасно им восторгались, а я в это время вспоминала наш Губаревский парк, наш липовый, дубовый, кленовый дивный парк! А Веречатский в сравнении с ним был жидок и невелик: Иван Фомич улучил минуту, когда дамы увлеклись беседой по-польски с Берновичем, вспоминая злополучного Галку, с негодованием ввернул мне: «Нет! Вы только подумайте! В описи стоят свиньи, а на деле поросята! Вместо индюшек – маленькие индюшонки, а экономка сама мне сказала, что вместо кур нам дадут цыплят! И актерка отбивает себе несколько коров!» (Мадам Поклевская действительно заявила, что она давно уже подарила своей дочери несколько коров из экономического стада).

Прогулка наша была довольно скучная: хозяйки, перебивая друг друга, все расхваливали, слишком подчеркивая свой восторг. Наконец, надеясь, что я достаточно очарована, дамы с двух сторон осадили меня: во-первых, задаток должен быть увеличен с двенадцати до сорока тысяч; во-вторых,

цена имения уже больше не сто пять, а сто пятнадцать тысяч. Я невольно обрадовалась таким новым условиям. Нельзя же было отказываться от такого имения только потому, что мне не нравились пути сообщения! Впрочем, не ночевка у вокзального сторожа и песчаная в двадцать верст дорога смутили меня, а все то же чувство тоски, которое охватывало меня, как только я въезжала в чужую усадьбу, в которой нам предстояло жить!

Теперь эти дамы сами помогли мне своими неожиданными требованиями и переменой условий. Вместо того, чтобы торговаться, спорить, опасаясь даже, что тогда дамы пойдут на уступки, я (довольно себе на уме) ответила, что решиться на такую перемену условий без мужа моего не могу! После того мне уж не хотелось даже смотреть имение. Но Бернович настоял, чтобы я поехала с ним смотреть лес и еще какой-то фольварк с покосившейся рыбацьею хижиной на берегу озера Миадзоль. Это было громадное озеро, чуть ли не в тысячу десятин, и на нем был остров в девятнадцать десятин, принадлежавший имению. В озере водилась мелкая, но очень ценная рыбка «селява». Все это пояснял Бернович, когда мы, остановив лошадь, так как ехали вдвоем в кабриолете, стали любоваться озером. «А все-таки мне здесь что-то не нравится, – сказала я своему спутнику, чувствуя, что обычная моя тоска еще удвоилась от перспективы тоски одиночества, когда я останусь одна в Веречатах, без Вити, привязанная к хозяйству, а он в Гарни один! – Сюда не наездишься с этими

ночными пересадками!»

По сверкнувшим глазам Берновича я поняла, какая для него это радость. До сих пор он был так деликатен, что ни единым словом не пытался повлиять на меня, а, напротив, скорее улаживал дело с Поклевскими, более даже, чем наш «сварливый старик», который за поросятами да индюшатами, за щепками леса не видал! Станный человек Бернович, настоящий Дон Кихот, думалось мне: он так легко примирился со своей скромной ролью агронома в Веречатах, а между тем в Щаврах он рассчитывал на личный заработок в пятнадцать тысяч, если его прибыли не миф! Допустим даже, что это миф, но грубо ошибиться он не мог. Наконец, если и будет все-таки заработок, пусть берет он его весь, только бы не пропал наш капитал, и осталась нам усадьба, хоть на трех десятинах: Щавры в трех часах езды по железной дороге от Минска. Можно съездить обыденкой, можно ездить туда через день, а здесь я пропаду с тоски! Что толку, что имение прекрасное, что дом чудесный, полная чаша, но мне предстоит добровольная разлука с Витей! Хотя он уже говорил о переводе в Виленскую губернию, но даже от Вильны, да и от всего света далеко, уж не говоря о том, что знаем мы эти переводы! Ведь мы в Саратов четвертый год переводимся! И ниоткуда не проедешь туда, минуя эти двадцать верст песчаной дороги и ночевки в Новых Свенцянах! Не легче и с другой стороны, и с Глубокого, где кончалась узкоколейка, но оставалось еще четырнадцать верст до Полоцкой дороги!

Все это я соображала, пока Бернович, соскочив с кабриолета, пытался вызвать кого-либо из рыбацкой хижины, в ней никого не было, и он вернулся к кабриолету.

– Вы говорили, что в Щаврах дом сгорел? – обратилась я опять к нему. – А существующий неважный? Но какой же? Вроде этой рыбацкой хижины?

Бернович рассмеялся:

– О, нет! Не дворец, как сгоревший дом маршалка Лось-Рожковского, но все же настоящий деревенский дом, вместительный, зимой теплый; кроме того, два флигеля. («*Pour les érades*»<sup>180</sup>, – подумала я.) Разные дворцовые службы, а парк Щавровский – единственный в уезде.

– Получше здешнего?

– Аллеи трехсотлетних лип!

Мне вдруг захотелось непременно в Щавры!

– Знаете что, – продолжала я, – если Щавровский дом и вроде этой рыбацкой хижины (а Вы говорите, что лучше), все-таки подумаем о Щаврах! Три часа от Минска, пятнадцать верст от магистрали, а здесь с тоски умрешь, никуда не доскачешь! Повернемте в Щавры! Но только с условием: мы Вам будем верить, но не возите меня в Щавры до запродажной, иначе я и с Щаврами Вам устрою бенефис! Мы пересмотрели два десятка имений: как только я увижу усадьбу, где придется жить, тоска является такая, что бегу без оглядки, и никакие выгоды меня тогда не соблазняют. Ну, в Щав-

---

<sup>180</sup> Для обломков кораблекрушений (фр).

ры?!

И на Веречеты был поставлен крест. Оставалось придумать, под каким предлогом нам выбраться скорее из Веречат, т. е. уехать завтра же, не теряя времени. Тут сама судьба нам помогла: когда мы в сумерках подъехали к дому, слышались истерические рыдания, прислуга бегала с испуганными лицами, кричали: «Валериановых капель, скорей!» Оказалось, в наше отсутствие была получена телеграмма от графа Шишко, оскорбленного супруга, он предупреждал, что если увезут за границу его семилетнего сына, то он не вышет каких-то обещанных денег. Это известие всполошило весь дом. Предполагалось устроиться так удобно: отнять у Шишко, человека очень порядочного и благородного и сына, и семейное счастье, и состояние. И вдруг отпор! Он не согласен отдать сына! Актерка истерично рыдала, актер утешал ее, мамаша с заплаканными глазами бегала по дому, старик Поклевский заперся у себя в кабинете, и я одна с Берновичем в гостиной занимала это яблоко раздора, семилетнего сына, очень миленького и живого мальчика. Наконец пришла к нам мадам Поклевская, вся в слезах, и объявила, что ей необходимо завтра же, в четыре часа утра ехать в Вильну, видеть зятя, чтобы уговорить его. Нам это было на руку, этим само собой облегчался вопрос нашего отъезда. Мы попросили заодно и нас доставить к утреннему поезду (другого и не было), продолжать осмотр имения я могла считать неудобным, не переговорив с мужем о перемене условий. Она впол-

не согласилась со мной, да ей теперь было не до продажи имения!

В четыре часа утра у крыльца стояла четверка на вынос «золотистых клячек» и пара вороных коней для Берновича и Гринкевича, с нескрываемой радостью покидавших Веречаты. Утро было чудесное. Мы незаметно проехали по прохладе эти двадцать верст, показавшиеся накануне по жаре столь утомительными для взмыленных «клячек». Дорогой мадам Козелл разговорилась; была уже гораздо покойнее и веселее. Также болтала она всю дорогу в поезде. Один Бернович не мог выдержать раннего вставания и спал в соседнем вагоне. Он решил остановиться в Вильне, чтобы там разузнать у знакомых комиссионеров все, что возможно, о Щаврах. В Вилейске мы с ними простились и повернули на Минск. Сколько раз уже мы ездили этой дорогой! Но насколько печальны были виды из окон осенью и зимой, настолько теперь были зелены поля и дубравы. На станциях пышная зелень деревьев, много ягод и цветов; по платформам сновала веселая дачная публика в светлых платьях. Иван Фомич, очень довольный, что возвращается домой, галантно поднес мне даже букетик спелой клубники. И забыв свою толщину и седую бороду, напоминал школьника, вырвавшегося на волю после трехдневного карцера; и сама я была счастлива, как птица, вытащившая свой увязший клюв! Нет, по-видимому, я решительно не была способна поселиться в чужом гнезде и зажить во вновь купленном имении.

Не так отнесся к этому вопросу Витя, встречая нас в девять часов вечера на вокзале. Его искренно огорчило то, что я сообщила ему: и свои впечатления, и новые условия Полевских. Двенадцать тысяч были им уже переведены на задаток в Вильну, все в Минске его уже поздравляли с удачной покупкой, просто даже выходило как-то неловко.

На другое утро, рано, нам подали письмо Кагана. Он сетовал на наше колебание и опасение купить Щавры, горячо уговаривал решиться и просил телеграфировать об окончательном решении. При согласии он немедленно приедет переговорить с нами, а также приедут владельцы Щавров Судомиры. «Ну и телеграфируй! Пусть приедет! Переговорим, что будет!» – решительно заявила я Вите. Правда, при его экспансивности мы становились басней в Минске! А сколько мы уморили комиссионеров! Через полчаса Когану была послана краткая телеграмма: «Приезжайте».

## Часть II. Щавры

### Глава 9. Август 1909. Запродажная

День 30 июля прошел у нас невесело. Мы решили никому не говорить о постигшей нас неудаче. Уж очень поздравляли Витю с Веречатами в городе и на службе! Никто бы не понял, что причиной ее не одна внезапная перемена условий (Бант, узнав о ней, немедленно бы полетел в Вильно усовещивать панну Козелл и, конечно, добился бы своего), но и то, что в Веречатах мне вдруг стало так страшно, представляя себе принудительную разлуку с Витей, что я не шутя предпочла бы поселиться в хибаре, вроде рыбацкой хижины на берегу озера Миадзоль, нежели в комфортабельном доме Поклевских. Пусть Щавры – разоренное имение, без инвентаря, без лошади и коровы, а дом без мебели, все это не входило в покупную сумму, но Щавры близко от Минска и по дороге «домой», а Веречаты где-то ужасно далеко. Мы будем работать и создадим все нужное для того, чтобы нашим дорогим было и в Щаврах хорошо. Начнем хозяйство с веревочной сбрауи, с глиняного горшка: счастье не в золотой клетке и не в золотистых «клячках» мадам Козелл! Сентиментальность, скажут многие, но иные поймут меня.

Утром 31-го мы получили, почти одновременно, две те-

леграммы. Каган телеграфировал, что приезжает вместе с Щавровскими владельцами, а Бант телеграфировал: «Приезжайте непременно сегодня в Вильну кончать. Козелл согласна на все прежние условия». У меня сердце екнуло. Как было ехать в Вильну? Через два часа приедут Судомиры. И я все-таки в эту решительную минуту боялась настаивать: Вите не понравилось в Щаврах, пусть будет, что будет. Но в это самое время вошел Бернович, рано утром приехавший из Вильны. Все, что он узнал о Щаврах в Вильне, было самое лестное: это было на редкость великолепное дело. Я чувствовала себя почти виноватой в том, что я точно веду интригу с Берновичем против Веречат. Если бы я хотела, одного слова моего было бы достаточно, чтобы вернуть Веречаты, но я боялась их, боялась того соблазна, которое связано с таким богатым имением, полная чаша, где уже все готово, где и мои дорогие нашли бы сразу то, что я для них искала, но ценою разлуки с Витей.

И я ушла на балкон, чтобы не влиять в этом вопросе на Витю, пока он, все еще задетый переменой условий, по своей инициативе телеграфировал ответ: «Подчиняться капризам продавцов не можем. Требуем гарантии, без чего не приедем». Какую гарантию могла дать панна? Бант, конечно, вернется уговаривать и убеждать, а так как при возвращении к прежним условиям не было причины отказываться, Бернович сумел нарочным предупредить панну Козел, что, щадя ее самолюбие, советует ей не идти на уступки. Ему известно

ее тяжелое положение, и он ей достанет пятнадцать тысяч под закладную и устроит аренду Веречат с залогом в десять тысяч, что должно ее выручить и сохранить Веречаты для ее внука. Бернович, видимо, волновался: от этих минут зависела его дальнейшая судьба. Не более как через час к нам ввалились вместе с Каганом Щавровские владельцы: инженер-технолог К. Ос. Судомир с супругой (рожденная Лось-Рожковская), дама необъятной толщины, пышущая здоровьем, вся розовая, в громадной шляпе и в костюме по последней моде. Судомиры привезли план всего имения и разные документы. Окончательная цена ими была назначена в сто шестьдесят тысяч за две с половиной тысяч земли и то, благодаря стараниям Берновича. Кагану было назначено по два процента с каждой стороны за комиссию. Судомиры просили дать им десять тысяч при запродажной, сорок при купчей, десять тысяч оставляли на год в закладной и сто тысяч переводили на нас долгом Московскому земельному банку; десятитысячный задаток им был необходим на устройство дел до выезда из имения, который они назначили в течение сентября, после купчей. Все эти условия были приемлемы, хотя для купчей у нас не хватало десять тысяч. Затем Бернович с Каганом выясняли еще какие-то «детали» у Судомиров, количество и сроки платежей процентов, повинностей, пересмотрели контракты, условия и пр. После продолжительного сеанса они пришли нам сказать, что Судомиры остановились в гостинице «Брюссель» и ожидают нас к себе

к вечеру чай пить, чтобы продолжить переговоры, которые как будто начинали клониться к благополучному концу. Мы не захотели оставить в стороне нашего Фомича и поехали к нему сообщить о начатых переговорах, да, кстати, предупредить его, что необходимо достать десять тысяч к сентябрю месяцу. У старика водились деньги, и он охотно давал их в рост. Он обещал подумать.

В семь часов вечера мы с Витей отправились в гостиницу «Брюссель», по Захарьевской же улице. Бернович и Каган уже там ожидали нас, и когда они заметили, что дело пошло на лад, они заговорили о необходимости оформить сегодня же у нотариуса наши условия по разделу урожая, аренды и прочих доходов, с одной стороны, и процентов, повинностей и разных обязательств – с другой. Согласно желанию и настоянию всей компанией, мы отправились к нотариусу Малиновскому, где, несмотря на поздний час, все было освещено, и сидели писаря. Приступили к вопросу, как разделить урожай и аренды этого года? Судомиры утверждали, что они не могут нам уступить плоды своих трудов за лето сего года, а мы, покупая имение без инвентаря и дом без мебели, не могли согласиться на то, что должны взять на себя и проценты банку и все повинности, не получая дохода, которым мы бы могли покрыть эти расходы. Вопрос этот был настолько жгучий, что волновал обе стороны. Впрочем, выходил из себя особенно Витя, а Бернович и Каган суетились, более всего боясь разрыва, хотя особенных дипломатических способ-

ностей не выказывали.

Еще более волновался Витя, когда оказалось, что в Щаврах имеется четыреста десятин выкупной старообрядческой земли, за которую правительство, не известно когда и по какой цене, даст выкуп – весь фольварк Волковыски подлежал выкупу. Судомиры и наши посредники убеждали нас, что последнее обстоятельство очень для нас выгодно: мы получим все деньги без хлопот прямо от правительства тысяч тринадцать да еще недоимку и проценты, всего тысяч шестнадцать. Но чувствовалось, что в этом вопросе скрыто много темного и страшного. Вообще прения длились долго и подчас становились совсем неприятными, грозя разрывом. Но поскольку все усилия посредников были направлены к тому, чтобы не выпустить нас из рук, то в конце концов были выработаны какие-то компромиссы, не обидные, по крайней мере, казалось нам, для Судомиров. И тогда нотариус заявил, что теперь можно писать запродажную набело. Осталось согласиться. По-видимому, для этого мы и были приглашены к нотариусу. Около двенадцати часов ночи нотариальная запродажная была готова. Одних марок взыскали с нас на восемьдесят рублей, да и запродажная стоила по двести шестьдесят пять рублей на каждую сторону, вероятно, по необыкновенной таксе из-за неурочного времени. Но мы же нисколько не были заинтересованы в такой экстренности, напротив, нам необходимо было прежде всего согласие Фомича на 10 тысяч, которых у нас не хватало к купчей в сен-

тябре. Только Судомирам необходимо было получить с нас скорее этот задаток, чтобы за шесть недель ликвидировать свои дела и удовлетворить своих кредиторов «по справедливости», пояснили они.

Таким образом, первого августа 1909 года, в двенадцатом часу ночи, мы, совершенно, по правде сказать, неожиданно подписали запродажную на сто шестьдесят тысяч. При этом в задаток передали Судомирам чек на десять тысяч. Остальные сорок тысяч (а у нас их оставалось менее тридцати тысяч) мы обязались передать Судомирам наличными в сентябре, при совершении купчей; сто тысяч переводилось на нас долгом Московского банка и десять тысяч отсрочивалось на год в закладной. Все это произошло так быстро, неожиданно, под натиском Берновича, Кагана и Судомира, что мы не успели опомниться, как попали в западню, называемую Щаврами<sup>181</sup>.

«Да так можно и смертный приговор на себя подписать», – рассуждали мы позже. Но теперь дело было сделано, и получался очень неприятный осадок. Не сумели мы с первого же раза осадить их в этой спешке. Кто же так пишет запродажные? Как было не проверить слова Берновича, не взглянуть на то, что покупаем? Но, кажется, на озере Миадзоль кто-то просил Берновича не показывать усадьбы до запродажной. Вот он с Каганом и взял быка за рога. Несколько часов промедления – и сделка бы разошлась. Мы это вполне

---

<sup>181</sup> От белорусского «щавель».

сознавали и все-таки даже мне это очень не нравилось. Наша роль была совсем неважная. Мы искренне воображали, что Судомиры хотят у нотариуса разобрать вопрос о разделе доходов и расходов, вызывавший гневные протесты Вити, сразу невзлюбившего Судомира. И сознав теперь, вместо того, чтобы остановиться вовремя, я потеряла голову, потому что мне казалось, что Витя наговорит дерзостей Судомиру, Берновичу и все кончится скандалом и дуэлью. Я исключительно думала о том, чтобы умиротворить Витю, менее всего вникая в суть того, что делалось в этой конторе нотариуса.

«Без меня разберутся, без меня образуется, их там четверо мужчин», – думалось мне, а может быть, только чувствовалось, так как думалось мне только, как бы сдержать Витю. Со своей стороны, Судомир был совершенно хладнокровен, но это было спокойствие акулы, готовой проглотить шумевшего и взволнованного Витю. Он смотрел на него пристально так, как смотрит удав на попавшую в сети птичку. И этот страх за Витю совершенно лишил меня разума и душевного равновесия. Иначе говоря, Витя своей горячностью только подвинул дело. Когда же я пыталась его успокаивать, он начинал и на меня сердиться, что я «защищаю, по обыкновению, чужие интересы». Словом, вряд ли у нотариуса Малиновского когда-либо так бурно писалась запродажная. Особенно тревожило нас то, что за поздним часом мы не могли предупредить Гринкевича, нашего Фомича, который семь месяцев разыскивал нам имение. Ведь он переписывал ин-

дюшат и поросят в Веречатах, не успел даже взглянуть на Щавры! Когда мы заезжали к нему днем, предполагалось в этот вечер только чай пить у Судомиров, а вовсе не писать запродажную. Он знал даже, мы собирались съездить в музей, где в шесть часов вечера Скрынченко принимал целый архив, когда-то вывезенный из Слуцкого монастыря, теперь уже многие годы валявшийся в минском духовном монастыре. Нет, Фомич никогда нам не поверит, что писать запродажную в этот вечер не предполагалось. Особенно Витю раздражала просьба Судомира не разглашать в Минске об этой сделке. Что за таинственность такая? Почему же скрывать? Кредиторы не дадут утвердить купчую, поясняли Каган и Бернович, и тогда ваш задаток пропадет, пока-то вам придется его отсудить! Мне-то было легко не разглашать: я немедля уезжала в Губаревку, но Вите... Хорошо, что Урванцева была в отъезде. Урванцев же и Воцинин, конечно, немедленно будут посвящены Витей во все перипетии такой покупки Щавров.

На обратном пути мы зашли в кондитерскую Венгржецкого и спросили себе чаю<sup>182</sup>. Бернович куда-то предусмотрительно скрылся. Он вряд ли мог ожидать от Вити благодарности за эту сделку, но, конечно, знал, что иначе Щавры ему бы не улыбнулись. Нерешительность Вити в этом вопросе уже была известна на минской бирже. Теперь уже все комиссионеры махнули на нас рукой и отстали. Последний

---

<sup>182</sup> Которым Судомиры за горячими спорами не успели нас угостить.

«срыв» Банта с Веречатами это вполне подтвердил.

Поодаль, за отдельным столиком, уселись и Судомиры. Они были серьезны и молчаливы. Никто бы не подумал, что между нами только что была подписана запродажная, и они, получившие возможность развязаться с имением, душившим их, как уверяли они, и мы, наконец добившиеся «земли», должны были бы чувствовать радость удовлетворения. Но нет, все вышло как-то странно, не по-людски. Курицы не купишь с такой спешкой. «Только так поступают разве оскорбленные невесты с досады, par dépit», – пробовала я объяснить Вите. Нас точно поймали, мы точно дети какие, идя к нотариусу, не понимали, что идем кончать, подписываться под обязательства, которое не сможем исполнить! Где же взять денег к сентябрю месяцу? Теперь Фомич, конечно, их нам не даст.

Когда на другое утро к нам пришел Фомич и мы довольно смущенно сообщили ему, что с нами случилось почти ночью, наш бородач просто обомлел:

– Такая осторожность, мнительность, колебание, опасения. И вдруг такая решимость! Не изучив имение, почти не глядя на него даже! Это просто что-то невероятное! Видно, Бернович здорово сумел вас обойти! Надо же было так слепо ему довериться! – ворчал он без конца.

– Просто потому, что мы потеряли терпение, – пробовала я защищаться, – ведь Вы забраковали сорок имений.

– Да, и были между ними хорошие?

– Да, но я думал, что найду еще лучше.

– Думали, и поэтому измучили нас и три десятка комиссионеров. А сколько это нам стоило денег? Впрочем, так всегда бывает с разборчивыми невестами. Вот и мы с Вами наказаны, а дольше тянуть мы были не в силах. Восемь месяцев жизни исключительно исканием земли. Вы хоть дом свой выкрасили за это время, а мы покоя не знали.

Фомича не обрадовало даже обещание взять его управляющим в Щавры, так как Бернович брал на себя одну ликвидацию.

– Если б я знал (что знал?), я бы уговорил купить и Жадину, и Лауданешки, и другие. Уж, наверное, не хуже, – ворчал он.

– Вольно же, – проворчала и я.

Он был взбешен. Неудивительно, что и все поиски десяти тысяч были тщетны, а его личные деньги уже были пристроены. Этого и следовало ожидать. Зато Бернович явился к нам сияющий. Потирая руки, он уверял, что наше дело на редкость великолепное, и заранее учитывал свой заработок, те пятнадцать тысяч прибыли, которые выпадут на его долю.

Этой прибыли мы совсем не верили.

Как можно было так легко, благодаря комбинациям, нажить 70 тысяч. «Хотя бы свои не потерять», – скептически повторял Витя, к удивлению Берновича, который еще никак не сумел его убедить, что выкупная земля и чиншевики<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Бессрочное, с возможностью передачи по наследству право аренды, близкое

нисколько не повредят делу. «А вдруг вся земля окажется в чиншевиках и старообрядцах?» – говорил Витя невесело, и даже во сне ему мерещились все домики, домики и домики с чиншевиками. Со своей стороны, у меня было какое-то ощущение пустоты: чиншевики чего-нибудь да стоят и все же существуют, а вот это ощущение пустоты, совершенно неясное, представляло мало радости. Но если прибыль – сказки Берновича, все же мы не можем потерять свои деньги. И Бернович не может так ошибаться, он же не берет у нас жалования. Он берет двадцать пять процентов с чистой прибыли. На что-нибудь да он рассчитывает? И тогда мне становилось легче, и я приписывала наше нерадостное отношение к покупке тому, что, с одной стороны, с первого же дня установилась определенная неприязнь Вити к Судомирам и, вероятно, обратно, а во-вторых, этой спешке и своего рода насилию: повели к нотариусу и поздравили с покупкой имения. Наша роль была очень обидная, и это терзало самолюбие. А назад идти было нельзя. Над нами стояла угроза потери задатка в десять тысяч. Судомир, конечно, не вернул бы нам его. А если в сентябре к купчей не будет еще десять тысяч, эта акула беспощадно нас прожует и проглотит. Но где же было взять десять тысяч? Подвел нас Фомич! Всегда говорил, что вложит десять тысяч в имение, которое мы купим.

Так как я собиралась в Саратов все лето, а первого августа был предельный срок, на котором мы помирились (в конце

августа я бы уже не застала Лели в Губаревке), то и оставалось немедля ехать в Саратов. Я надеялась там на своих друзей. Витя не мог ехать со мной. Из Петербурга со дня на день ожидалась ревизия Стефановича.

Все «мои», конечно, были в курсе наших дел. Даже более, чем когда-либо, часто и подробно писала я им, и перед самым моим приездом они уже знали, что Веречаты сменились Щаврами, и мы приступаем к делу, начиная с дома. Леле казалось, что мы пустились в какую-то невероятную авантюру, грозившую нам полным разорением. Тетя вздыхала, но надеялась на милость Божию. Одна Оленька верила в успех. «Если Бернович и врет, суля барыши, но все же не потопит нас? И даже что-либо лишнее перепадет pour mes pauvres<sup>184</sup>», – говорила она. Я не упоминаю о Шунечке, потому что она, разделяя волнение Лели, который из-за этих Щавров, Веречат и пр. ночей недосыпал, относилась ко всему этому несчастному вопросу столь неприязненно, что предпочитала даже совсем со мной об этом не говорить. Даже маленькая Олюнчик, когда ей показали присланные мною фотографии имения, серьезно, неодобрительно покачав головой, проговорила: «К чему тете Жене еще покупать имение? У нее есть своя Губаревка». Все это было грустно. Я так была счастлива, что могла приехать в Губаревку с гостинцами для деток в виде меда или минской полендвицы, так отдыхала душой в кругу своей милой, единственной на свете семьи, что созна-

---

<sup>184</sup> Для ее бедных, ради которых она и хлопотала, отдавая свои деньги в дело.

ние, что я омрачаю их покой, очень меня огорчало.

Главное хорошо было в Губаревке то, что вместо обычной к концу лета тревоги из-за погибшего урожая и вопросов, как прокормиться зимой, теперь, после довольно дождливого лета, был дивный урожай. Засуха и жара точно переключались за мной в западный край. На новокупленном участке, Корвutowского, и по чищобам<sup>185</sup> в Новопольском лесу уродилось хлеба невиданно много. Крестьяне немедля стали думать о том, чтобы обстроиться, заткнуть все прорехи неурожайных лет. Даже Леля принялся за перекрытие амбара, и я была счастлива, что благодаря командировочным Вити я могла ему оставить на это двести рублей, потому что закончить эту необходимую работу мучало его все лето.

Хорошо было в Губаревке и потому, что поток летних гостей схлынул, и мы были в своей семье, считая и Ольгу Владимировну, которая продолжала свой самоотверженный уход за бедным Сашечкой: ему становилось все хуже. 15 сентября ему уже минет десять лет, а он лежал без речи и без движения. Уход неотступной от него фрейлен Хелены мог вызывать умиление и удивление. Но я не смела наслаждаться Губаревкой. Меня неотступно грыз вопрос: надо скорее доставать десять тысяч!

После нескольких дней передышки я поехала в Саратов к Деконской, надеясь на нее, как на каменную гору. Но она, оказалось, уехала к дочери в Кузнецкий уезд. Сунулась ту-

---

<sup>185</sup> Свежая земля из-под леса.

да, сюда, но ничего не добилась. Вернулась в Губаревку, не зная, как быть. Унывать я не умела и решила скорее вернуться к Вите, который сумел бы так или иначе придумать, что делать. Он писал ежедневно и все убеждал меня, что лучше просить своих, чем обязываться чужим *union fait la force*<sup>186</sup> и пр. А так как ревизия Стефановича была в полном разгаре, то ему нелегко было бы заняться этим вопросом. Но я надеялась уломать Фомича, взять его участником в нашей ликвидации.

Утром, на другой день после приезда из Саратова, Леля позвал меня на зеленый родник – обычное место наших обсуждений и решений. У него было очень решительное и серьезное выражение лица. Мне даже стало жутко. Леля решительно заявил мне, что считает нас почти погибшими. Никакому заработку Берновича не верит. В лучшем случае, мы вернем свой капитал после невероятных тревог и усилий, выцарапывая его по мелочам. Я пробовала протестовать, ссылаться на привезенный мной доклад Берновича. Мастерски составленный, красиво переписанный на машинке, он мог бы убедить, успокоить Лелю, но Леля скептически относился к нему и не хотел ему даже придавать значения.

«Так вот, ввиду вашего затруднительного положения, – продолжал Леля, – ввиду риска потерять ваш задаток в десять тысяч, я не вижу другого исхода, как броситься в тот же омут. Гибнуть, так гибнуть вместе». Каждое слово Лели

---

<sup>186</sup> В единстве сила (фр.).

резало мне душу так глубоко, что я до сих пор помню каждый оттенок его слов. Поэтому, заключил Леля, он считал своим долгом дать не только десять тысяч на купчую, но и еще шесть тысяч на возможные расходы при ее совершении, то есть весь его именной шестипроцентный билет на шестнадцать тысяч, полученный из Дворянского банка в числе двадцати четырех тысяч за Губаревку.

Слушая Лелю, который не допускал ни малейшего протеста с моей стороны, я не могла отказаться от такого неожиданного спасения, но в то же время чувствовала себя совершенно подавленной великодушием Лели. Он отдавал мне свои кровные деньги, быть может, последние. Мне было бы легче, если бы он, давая их, верил в успех, надеялся на него. Но он не верил никаким выдумкам Берновича и только выручал нас, чтобы мы не потеряли своего задатка. Я опустила голову, как провинившаяся школьница, искала себе оправдания и не находила его. Покупая Веречаты, мы бы обошлись своими деньгами, а теперь начинали с долга, занимая, у кого же? У Лели, который все время так противился покупке имения. Я почти не благодарила его с конфузом. И только бормотала, что он увидит, как я сумею ему заплатить. Кажется, не было жертвы, которую бы я не принесла с радостью для моей семьи, всегда готовой все мне простить, все отдать! Шунечка, закончил Леля, посвящена тоже в его намерение, и она одобрила его.

Теперь, когда я успокоилась насчет возможности совер-

шить купчую, я могла всей душой наслаждаться Губаревкой. Деточки, конечно, приводили меня в восторг, но так как не может человек на земле быть вполне счастлив, то теперь, хотя слабее обыкновенного, я беспокоилась за Витю. Мы писали друг другу аккуратно ежедневно, но стоило почти пошалить, задержаться в дороге, как поднималась тревога, а почта поневоле шалила, когда Витя все время был в разъездах. «Пиши чаще. Ты не знаешь, что я в страхе переживаю, – писал он мне, – мне скучно без тебя». «О, если бы я знал, что мы купим Щавры, я бы лично все осмотрел, проверил бы Берновича вместе с Гринкевичем».<sup>187</sup>

Но памятуя и в дальних своих поездках-командировках, занявших у него первую тереть августа, интересы нашего маленького музея, он съездил сам взглянуть на камень в Погостье Игуменского уезда. Мы уже не раз писали о нем Леле. Леля советовал перевезти его в Минск, но камень оказался слишком большим. К тому же евреи той молельни, при входе которой он лежал, никогда бы не отдали его, потому что, уверяли они, приезжали из Санкт-Петербурга смотреть его и говорили, что на нем высечены те же знаки, что и на монетах времен царя Давида. К сожалению, раввин, который все это знал, недавно умер, а после него никто ничего не знал. Буквы были стерты ногами богомольцев. Раньше этот камень лежал в лесу. Но Витя просил одного молодого любезного человека снять с него фотографию, которая была обещана Леле для

---

<sup>187</sup> Письма В. А. от 16.8.1909 и 17.8.1909.

рассмотрения гебраиста<sup>188</sup> Коковцева.

Вернувшись в Минск, Витя послал-таки Фомича в Щавры. «Только без критики, – получил он в напутствие, – так как уже поздно». Предстояло ему еще, как опытному лесничему, осмотреть и оценить лес и получить по накладной бричку из Зябок Кехли. Впрочем, ее пришлось оставить у Кагана, в Крупках, потому что Судомиры увидели в ее появлении у них во дворе опасность для совершения купчей (!). Они все еще скрывали продажу Щавров. Но к великой радости Вити, когда Фомич вернулся из Щавров, он был доволен. Земля была отличной, неудобной совсем не было. Цена шестьдесят четыре рубля в округу за десятину была очень дешева. Он пробыл в Щаврах пять дней и оценил лес не дороже 5 тысяч, но что касалось ликвидации земли, то «дело было верное». Все крестьяне округи выражали желание раскупить участки и дачи по сто и сто пятьдесят рублей за десятину. С какой радостью читала я эти успокоительные письма Леле и Тете с Оленькой! Наконец прибыли ожидаемые в Минске ревизоры из Петербурга, и семнадцатого началась ревизия. Щепотьева и Глинку ревизовали Анжу и Мблоков, Витю – сам Стефанович. Стефанович входил в мельчайшие подробности, ревизуя Витю: вероятно, до него долетало ворчание из-за продовольственной кампании. «После ревизии, сегодня Стефанович сказал мне, что приятно поражен моей трудоспособностью и великолепной постановкой

---

<sup>188</sup> Гебраист – специалист по древнееврейскому языку. – *Примеч. сост.*

дела у меня, как по судебной, так и по продовольственной части. Кроме того, он находит, что все ревизионные отчеты о земских начальниках самые лучшие и обстоятельные из всех просмотренных им. Затем Стефанович уверял, что подымался вопрос в Петербурге о назначении Вити вице-губернатором в Могилев вместо Ш., получающего скоро губернию. Не говори никому из своих об этом, – заканчивал Витя свое письмо: подумают, что я хвалю себя, в особенности Алексею Александровичу: при его скромности это покажется хвастовством».

После этого письма я уже была покойнее за Витю, тем более что через два дня он опять уезжал из Минска на целых две недели. Теперь он ехал с Мблоковым на ревизию съездов, волостных правлений и земских начальников. По приложенному подробному расписанию я могла следить за этой поездкой: 22 августа, в субботу, в девять часов утра они выезжали в Борисов и в Борисовский уезд, далее обратно в Минск и в Барановичи, Новогрудок, Несвич и 28 августа – в Слуцк. Затем шла ревизия Игумена и Бобруйска, словом, пяти уездов. Пятого сентября Витя вернулся в Минск утром. В этот день и я вернулась к нему из Губаревки...

## Глава 10. Сентябрь 1909. Купчая

Теперь, когда Гринкевич одобрил Щавры и подходило время подписать купчую, я решительно не могла противостоять желанию наконец видеть Щавры! Бернович болел в Вильне. Мы списались с Судомиром и восьмого сентября выехали с Витей в Щавры.

У крыльца на станции Крупки нас ожидал экипаж, запряженный парой крестьянских лошадей, потому что экономические лошади уже были проданы. Высланный нас встретить кучер Павел подал мне записку от госпожи Судомир: она умоляла нас не проговориться при прислуге, что мы покупатели, а не гости. Я с удивлением передала Вите эту записку. Отъехав три версты от станции Крупок, мы уже переехали в Могилевскую губернию, затем вновь подъезжали к границе Минской, к лесам великого князя<sup>189</sup> Старо-Борисовской экономии. Затем миновали две-три деревни с толпой ребятишек у околиц; все поля были, видимо, еще недавно под лесом, везде торчали пни или случайно не срубленные елочки. Но вот показались среди полей высокая ограда густых елей и частокол аршин в шесть высоты. Въехав в затейливые ворота, мы подъехали к довольно невзрачному, хотя и обширному деревенскому дому, обвитому густой зеленью. Вокруг сквера перед домом тянулись подстриженные живые изгоро-

---

<sup>189</sup> Николая Николаевича и Петра Николаевича.

ди, а за домом стоял такой парк, такие дивные вековые липы, что я невольно вспомнила Берновича, когда в Веречатах он говорил, что Щавровский парк лучший во всем уезде.

Нас встретили толстые супруги Судомиры с двумя худенькими, бледными детьми и не менее толстой сестрой Марии Юльевны Терезой Юльевной Лось-Рожковской. Я немедленно спросила их, что значит такая записка, на что Мария Юльевна с сестрой в два голоса стали нас убеждать, что их положение из-за кредиторов невыносимо, что мать их, жена маршалка Лось-Рожковского, передала им это имение уже совершенно запутанным, потому что она выдавала векселя и обязательства разным мошенникам, которые их разорили: брали с них сто и двести процентов. Кровопийцы будто выискивали несуществующие долги по фальшивым документам и могут тормозить утверждение в купчей, так как предъявят сверх двадцать одну тысячу запрещений, уже лежащих на имении у старшего нотариуса, еще столько же документов, которые придется оспаривать, что возьмет много времени.

Обе дамы проливали крокодиловые слезы, жалуясь на свою судьбу, но говорили в один голос, и, видимо, нежная дружба соединяла их вопреки виленским слухам. После этих разговоров, когда даже присылка Зябкинской брочки грозила им гибелью (!), мы сочли за лучшее ограничиться одной прогулкой по парку в качестве гостей. Я не решилась, вопреки своему любопытству, даже взглянуть на комнаты в доме. Зато от парка я была в восхищении: дивные темные аллеи,

трехсотлетние липы, роскошные каштановые деревья, красивые старые ели, а близ дома много роз, лилий и других многолетних цветов, много укусных деревьев, кустов жасмина гигантской величины, словом, прелесть! И весь парк с фруктовым садом, занимавший не более восьми десятин, был заключен в непроницаемую ограду. Как жидок был в сравнении с ним Веречатский парк! Из этой ограды за ворота прошли мы только шагов пятьдесят, к небольшой церкви, бывшей униатской, с колоколом с латинской надписью и годом 1610. В деревянной ограде церкви стояли старые, поломанные бурей сосны с гнездом аиста, на старинных могилах лежали камни, полувросшие в землю. Церковь, также и усадьба, отделялись от села небольшой речкой, запруженной плотиной, по крайней мере, мы приняли это за речку, хотя сопровождавший нас кучер Павел заявил, что это лужа, в которой топят деревенских щенят, что вызвало какое-то замешательство, воркотню и еле сдержанное негодование владельцев.

Переночевали мы скверно. Масса мух, слепней и блох. На другое утро мы решили уехать в Могилев, и нас, видимо, с большим облегчением отправили на станцию. В Могилеве Витя побывал у старшего нотариуса для проверки количества запрещений: их было действительно на двадцать одну тысячу; побывал в казенной палате из-за повинностей и в губернском присутствии насчет производства выкупа и пр.; после чего мы вернулись в Минск в ожидании известия от

Лели. Леля с Ольгой Владимировной и больным Сашенькой выехал в Петербург раньше семьи и уже в письме от десятого сентября сообщал, что перевел нам пятнадцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля, полученные от продажи его процентов (бумаг номинально на шестнадцать тысяч). Его очень огорчала потеря курса в восемьсот рублей, но мы успокаивали его: «Горевать нечего – все это покроется парцелляцией!»

Тем не менее, высылая мне полный расчет одиннадцатого сентября, он заключал: «Пусть это письмо и прилагаемый расчет Северного банка служит исходным пунктом в дальнейших наших расчетах. (Конечно, никакой расписки на шестнадцать тысяч Леля с меня не взял.) Я, разумеется, не могу считать, что вы заняли у меня шестнадцать тысяч рублей, но как говорил, хотел бы иметь те же проценты, что имел в Крестьянском банке. А при расчете окончательном я, конечно, должен буду принять во внимание вашу курсовую потерю. Мы еще увидим, как еще будет рассчитываться с нами банк через пятилетние сроки». Теперь в каждом письме он только просил одно: скорее, скорее заключить купчую.

Об этом заботиться не приходилось: Судомиры прислали заявление, что к купчей они будут готовы пятнадцатого сентября, а Коган все время зудил: «Скорей, скорей, ради бога скорей, а то кредиторы испортят». И мы были готовы к пятнадцатому сентября, хотя после выручки Лели дело было не за деньгами, но за документами. Для того, чтобы не платить семь тысяч пошлины, нужно было представить к куп-

чей свидетельство о том, что мы с сестрой русского происхождения. Но, как оказалось, это было не так уж легко. В свидетельстве саратовского депутатского собрания, которое я выхлопотала и привезла с собой из Саратова, стояло, что мы православные, но не стояло слово «русского происхождения». Об этом в русских губерниях никто и не беспокоится. Но могилевский нотариус и управление банка требовали, чтобы представили такое удостоверение от могилевского губернатора. Будучи с Витей в Могилеве, после Щавровской поездки, мы подали о том прошение могилевскому губернатору фон Нолькену. Очень нелюбезно фон-Нолькен ответил нам отказом. Мы обратились к старшему нотариусу. Он согласился обойтись без разрешения губернатора, но потребовал свидетельства духовного отца и полиции по месту жительства. Первое мы достали, второе вызвало массу волнений Вити: Эрдели, Щепотьев, полицмейстер были в отпуску. Витя поднял на ноги все присутствие, но ничего нельзя было добиться: ни в метриках, ни в паспорте не стояло, что мы русского происхождения. На беду еще Витя сказал, что Шахматовы, возможно, даже татары. А-а, тем хуже! «У нас Богданович татарин, но католик: татары помогали полякам при завоевании России», – слышалось в ответ. Советник правления Юзефович заявил, что он готов дать удостоверение, что мы польского происхождения, что мы Шахматовские, что мы воспитаны в духе польских традиций, потому что все это не связано с преимуществами, которое дает «рус-

ское происхождение» при покупке земли в западном крае, но что мы «русского происхождения» он подписки дать не может, хотя в этом уверен.

Упорнее всех был Глинка. Он категорически отказался подписать удостоверение, что мы русские. «Поймите, – убеждал секретарь, – ведь это им семь тысяч убытка». «Тем более! Конечно, я знаю, что они русские, но подписать это... Ни за что! Быть может, Ольга Александровна теперь перешла в католичество?» Наконец вице-губернатор и секретарь выдали нам это злосчастное официальное свидетельство о русском происхождении со всеми копиями, марками и пр. Хотя в нем стояло, что фамилия моей матери Федорова (отчество моей матери Федоровна), что я на девять лет моложе себя, но зато факт русского происхождения, наконец, был засвидетельствован! Урванцев и Вошинин просто из себя выходили, слыша о всех этих мытарствах. Страдательным лицом был Витя, хлопотавший за нас обоих по доверенности. В то же время у него была масса своих служебных дел. Как нарочно, двенадцатого и четырнадцатого сентября у него были экстренные продовольственные совещания, созываемые по случаю продовольственных реформ и введения земства в западном крае. Он должен был успеть все написать, отослать в Петербург и четырнадцатого же числа, в десять часов вечера выехать со мной в Могилев писать купчую.

К этому самому ночному поезду поспел и Бернович из Вильны, а на станции Крупки ввалились Судомир со свояче-

ницей и Коган. В одиннадцать часов мы уже все были у нотариуса Васютовича. Тотчас же был вновь поднят вопрос о разделе аренды и повинностей. Витя опять горячился и опять усматривал в моей попытке его успокаивать соблюдение интересов Судомиров в ущерб своим.

Нам пришлось прожить в Могилеве целую неделю, и я просто не чаяла конца! Нервы у нас всех были страшно натянуты. Витя с болезненной раздражительностью и недоверием, довольно обидным для той стороны, проверял и отстаивал каждый пункт купчей. Судомирам же все чудилась погоня кредиторов, и они высылали к каждому поезду из Орши Кагана, чтобы за кем-то следить. Нас всего более смущали и нервировали эти опасения, эта тайна, которой была окружена наша купчая! Но вместо того чтобы торопиться ее писать, время уходило на бесконечные «перкосердия», начавшиеся, как только мы собирались у нотариуса. Он, впрочем, нисколько этому не препятствовал, так как у него самого в имении под Могилевом случилось какое-то несчастье, кажется, убийство, так что ему решительно не было времени пристальнее заняться нами: он все время отлучался из своей камеры. Наконец девятнадцатого, в субботу, все было готово. Приходилось переждать воскресенье, и только двадцать первого купчая была утверждена. В последние два дня тревога Судомира и Терезы, принимавшей живое участие в деле, все росла. Судомир просидел чуть ли не всю ночь, следя за перепиской купчей, не щадя наград засыпавшим писцам.

Все трое (Мария Юльевна подъехала из Москвы с расчетом и разрешением банка на продажу имения) ходили умолять старшего нотариуса не задерживать утверждение, а так как все формальности были соблюдены и двадцать одна тысяча на запрещения нами внесена в депозит, то старший нотариус, не в пример прочим, очень усидчивый, вообще с утверждением, говорят, никогда не запаздывал, а теперь, вняв слезным просьбам дам, утвердил эту купчую в тот же самый день, двадцать первого сентября. Тогда только мы и могли телеграфировать Леле и в Губаревку, что купчая утверждена. Тогда же мы передали Судомирам и остальные девятнадцать тысяч.

С нетерпением и тревогой, судя по сохранившемся письмам, ожидали все наши известия об окончании этой процедуры. Купчая, действительно, могла бы сорваться, и тогда бы задаток наш пропал. Мы телеграфировали семнадцатого сентября, но только поздравляли нашу маленькую любимицу Сонечку, которая с Шунечкой и сестрами продолжала еще проводить теплую и ясную осень в деревне.

Но нам пришлось провести еще четыре дня до получения на руки купчей и окончания всех формальностей. Это было очень скучно. Гостиница «Бристоль», кажется самая лучшая в городе, была шумная и неряшливая. Внизу был ресторан с румынским оркестром, приводивший Витю в отчаяние: он находил неприличным и бестактным кушать под музыку «наверное, голодных людей», он платил им деньги и умолял пе-

рестать музыку, которая к тому же действовала ему на нервы, особенно визжавшие скрипки. (Впрочем, подобную историю поднял он однажды и у Медведя в Петербурге).

Последние дни в Могилеве были особенно скучны. У нас было много времени ознакомиться с городом, погулять, и погода была чудная. Но «история с географией» что-то не шли нам на ум. Нет слов, что вид на Днепр и на далекое Заднепровье с гористого берега из губернаторского сада был неописуемо красив. Сидя в беседке сада, я пробовал черпать в моем верном «Спутнике» сведения о посещении Могилева всеми царями, начиная с Алексея Михайловича, о том, что Могилев в XII веке был уделом Витебских князей, позже стал Литовским пожизненным владением Елены Иоановны (дочери Иоанна III и супруги Александра Литовского), был бесконечно раз сожжен и разграблен русскими, шведами, казаками.

Вите решительно было все равно! Леля поручил нам разыскать в Могилеве Романова<sup>190</sup>. Леля очень ценил его работы. У нас было к нему письмо с просьбой прислать Леле его сочинения, а нам он советовал посмотреть его замечательный музей при статистическом комитете. Им была собрана коллекция следов доисторического заселения времен каменного века в урочищах близ Могилева. Но Рома-

---

<sup>190</sup> Романов Евдоким Романович (1855 – 1922), археолог, этнограф, историк, фольклорист, краевед, педагог, один из основоположников белорусской гуманитарной науки, создатель Могилевского областного краеведческого музея, открытого в 1904 г.

нов был в отъезде, а музей был закрыт. Я пробовала в воскресенье убедить Витю в необходимости съездить за четырнадцать верст в Шклов, в резиденцию Екатерины II во время ее свидания с Императором Иосифом II. Витя же совсем не хотел видеть это имение, купленное у Адама Черторыйского Екатериной для Потемкина, а позже переданное Зоричу. Блестящие празднества Великой Екатерины, роскошные дворцы... На все это он отвечал, что теперь ему важнее Щавры! Впрочем, дворец Зорича был разобран на кирпичи и владельцем бесконечно раз сожженного и разграбленного Шклова теперь был прозаический Кривошеин. Ехать к нему в гости не предполагалось, и вообще Вите было достаточно своей собственной истории с географией.

Встречи с Судомиром после купчей перестали быть бурными. Но мы сторонились их, тем более что Витя особенно невзлюбил Терезу, которая вообще держалась с большим апломбом, большим, чем сестра, и несколько раз осаживала его очень резко.

Наконец во вторник вечером, двадцать второго сентября, нам удалось, закончив все в Могилеве, выехать в Минск, унося самое тягостное впечатление и о Могилеве, и о времени, проведенном в нем. И сны наши тогда сулили нам одно худое: лошади, кресты – все это означало обман, испытание! Видела я во сне большой портрет отца разоренным, видела темный грязный сарай и в нем у стены ряд изодранных хоругвей, икон и темное деревянное распятие во весь рост.

С Витей по возвращении в Минск сделалась краснуха. Урванцев объяснил ее исключительно пережитым волнением и, уложив в постель, прописал ванну, покой и успокоительные капли.

У Судомира разболелась печень.

Леля поздравил нас с окончанием скучной и мучительной процедуры: «Все-таки не очень добросовестные продавцы, – добавлял он, – и как бы не оказалось еще новых долгов на имении. Интересно, как разрешится вопрос о старообрядцах. Значит, теперь надо приниматься за хозяйничание».<sup>191</sup>

Конечно, надо было за это приниматься. Но Судомиры еще складывали свои пакеты и первого октября назначили торги на все свое движимое имущество. Ввиду необходимости обзавестись инвентарем и мебелью, которые Судомиры уступали нам не дешевле четырех тысяч, мы решили командировать к этим торгам Фомича и в помощь к нему послали с ним одного маленького чиновника губернского присутствия, которого Витя отличил во время продовольственной кампании, Митрофана Николаевича Горошко.

Щавровские торги, на которые слетелась вся округа, прошли блестяще, т. е. Судомиры сумели продать весь хлам до последней разбитой рюмки. Фомич задержал для нас самое необходимое, и сравнительно дешево: всю обстановку и посуду за четыреста рублей, старые экипажи и необходимый инвентарь за шестьсот, всего на тысячу рублей. Все же

---

<sup>191</sup> Письмо А. А. от 25.9.1909.

остальное было продано жидам-купцам, окрестным крестьянам, и после торгов непроданной осталась лишь одна бельевая корзина с пузырьками, баночками и старыми рецептами. Но и она была торжественно вынесена из апартаментов и передана, как награда за многие годы самоотверженной службы и преданности Лейбе Шмуклеру, заменявшего Судомиру поверенного, управляющего и, кажется, кредитора, потому что в счет должных ему нескольких тысяч, кроме этой корзины, для него оставлялся старый рояль паненки Терезы, оставленный нам пока на хранение (в надежде соблазнить нас), да и еще какие-то бревна и колеса в амбаре.

Фомич педантично справился со своей задачей, и, по обыкновению, не мог не хвалиться своим умением дешево и умело снабдить нас инвентарем, который, повторял он, Бернович был обязан нам выговорить при покупке имения! Он только не мог простить Горошко, что тот переплатил семьдесят пять копеек за коленкоровые шторы на окна. Воркотня по этому поводу длилась очень долго. В то же время он подметил массу подробностей, о которых рассказывал потом без конца. Особенно поразила его паненка Тереза: старый Стась, тридцать пять лет служивший в Щаврах, еще при жизни маршалка Лось-Рожковского, со слезами просил ее отдать ему ружье, с которым он, как полесовщик, никогда не расставался, не даром, а в счет тех трехсот рублей, которые они же ему задолжали. Но паненка предпочла продать ружье за два рубля наличными приезжему купцу. Не менее искусно выжимал

рублю и сам Судомир. Так, он уговорил своего поверенного из местечка Черей, еврея Нанкина, стать на торги громоздкой кушетки, которая совсем не шла с рук. «Эту кушетку они жалеют продавать, – пояснял Нанкин, веря на слово Судомиру, – она им дорога, как историческая ценность: на ней сидела Екатерина II в Шклове». И Нанкин добросовестно подымал на нее цену все выше и выше, веря, что он только подставной покупатель, за Судомира. Но когда цена кушетки была им взвинчена донельзя, он должен был ее оставить за собой, так как Судомир и не подумал себе оставить эту громоздкую рухлядь, а пораженный Нанкин, ничего не понимавший в такой якобы исторической ценности, почти со слезами должен был занять у кого-то денег, чтобы отсчитать их Судомиру, да сверх того нанять подводу, чтобы везти ее к себе за тридцать верст в Черей.

После торгов Фомич продолжал по нашей просьбе сидеть в Щаврах и прислал подробную опись и цену каждой купленной площадки. Он сообщал, что Судомир уже выслал свою супругу с детьми в Киев, сам же со свояченицей не намерен спешить с выездом, и говорит, что в купчей не поставлен срок его выезда из имения, поэтому он может прожить в Щаврах хоть целый год! Когда Витя получил это известие, он вскипятился. Наконец возмутился и Бернович, до тех пор уклонявшийся от всякого отпора Судомирам, будто бы попрекавшим его, как поляка, который стоит за интересы русских.

В тот же день, в сумерках октябрьского вечера, Витя с Берновичем ураганом влетели на почтовых в Щавровскую усадьбу. Им указали резиденцию Фомича в «аптечке», беленький флигелек в саду рядом со сгоревшим барским домом.

Наверное, Фомичу очень нравилась красивая усадьба, но было скучно. Пока жаловался на свою судьбу изгнанника, в доме начались спешные сборы, сновали люди, выносили вещи. В десятом часу вечера к крыльцу подали лошадей. Судомир, уже сидя с паненкой в коляске, послал сказать Вите, что ожидает его к себе проститься. Витя опять вскипятился и решительно отказался.

Тогда ударили по лошадям и умчались к вечернему поезду. Этот внезапный отъезд, почти ночью, очень напоминал бегство, да и был таковым.

На другое утро Витя обошел опустевший дом и усадьбу в сопровождении Берновича и Фомича, потолковали, что предпринять, как начать дело.

Из Могилева приходили странные, хотя и непроверенные слухи. Только что кредиторы Рошковских явились к старшему нотариусу получать деньги по запрещением, и старший нотариус уже разослал многим из них повестки, как вдруг из Варшавы пришел вексель на сто тридцать тысяч и лег арестом на все запрещенные. Так все и ахнули! Бросились к Судомиру, тот объяснил это недоразумением, которое он немедленно выяснит в Могилеве. В удовлетворение же одного из са-

мых несговорчивых кредиторов, Судомир отдал часть забора усадьбы, и кредитор явился его разламывать в то самое утро, когда Витя, обходя усадьбу, застал его на месте преступления и поднял такой крик и шум, что кредитор пустился в бегство. После того Витя распорядился приготовить дом для нашего приезда и вернулся с Берновичем в Минск.

## Глава 11. Октябрь 1909. В Щаврах

Вопрос о том, чтобы провести вторую зиму с нами в Минске, был поднят Тетей с Оленькой еще летом. Для нас их приезд являлся большой радостью. Не только я, но и Витя их обожал: нам было о ком заботиться и с кем разделять наши впечатления. Теперь, когда в начале сентября Тата уехала с детьми в Екатеринослав к мужу, Минск многое потерял для нас. Сам Шидловский уехал на новое место службы еще в июле, и мы тогда, между хлопотами о Щаврах и Веречатах, сделали им прощальный обед, который, нам показалось, вышел очень удачным.

В августе Ольга Граве стала звать «наших» в Петербург устроиться вместе. Оленька стала вспоминать, что давно не видела своих «душевных» друзей: Корелл, Алтухову, Лидерт и др., что Тетя будет скучать о своих душоночках-внучках, и было решено зимовать в Петербурге, вместе с Граве. Потом в сентябре передумали: в Минске хорошо и покойно, и нас одних оставлять жаль. Решили зимовать с нами в «Гарни». Только Оленька выпросилась съездить на две недели во Владикавказ, к своей приятельнице Марии Степановне Пушкаревой. Ее супруг, теперь генерал в отставке, задумал, ради климата, поместить мальчиков во Владикавказский корпус, что не мешало им тут-то и начать болеть: северный климат был для них куда здоровее. Уже двадцатого сентября по Вол-

ге на Царицын Оленька выехала к ним «на крыльях любви», как подтрунивали мы над верной и долголетней ее привязанностью к Марии Степановне. Тетя же, проводив ее, собралась в Минск, хотя по дороге зажилась по обыкновению в Саратове у Адель<sup>192</sup>.

В их скучном доме теперь было оживление. Незадолго перед тем кончились земские собрания, и Володя, отказавшись от председателя уездной управы (его очень ценили и любили в уезде), уступил свое место Григорьеву, человеку в Саратове совсем незнакомому. Григорий Гогурин был выбран членом уездной управы. Можно представить его восторг, но он заслужил такой выбор, а что касается Григорьева, то все качали головой: «красный, но не прекрасный». Оленька, которая совсем не выносила его идей, называла его «язычником времен Нерона». «Проводить культуру в народ, но душировать своих противников?» – заметила и Тетя. Ей пришлось довольно долго ожидать Г. С. Кропотова. Конечно, все по тем же вопросам школы, питомника в Новопольской школе, жалование учителю и пр.

Как только она приехала к нам в Минск и устроилась в прошлогоднем «апартаменте» своем, рядом с нашими номерами, она выразила желание, не дожидаясь весны, съездить взглянуть на Щавры. Тетушка оставалась все той же отзыв-

---

<sup>192</sup> Адель и Владимир Михалевские – дети Надежды Николаевны Михалевской, сестры тети Ольги Николаевны. В молодости Владимир считался женихом Евгении Александровны, а Адель – невестой Алексея Александровича Шахматовых.

чивой, молодой душой. Витя немедленно списался по этому поводу с Фомичем, а я позаботилась купить кое-что к нашему приезду в Щавры. Только 10 октября получили мы известие от Ивана Фомича, что дом, очень запущенный, приведен в порядок, т. е. выскоблен и отмыт целой армией поденщиков, и на другой день мы с Тетей двинулись в путь с багажом необходимых дополнительных вещей: ламп, посуды и провизии. Витя не мог выехать раньше субботы, и с нами поехал Бернович, собиравший свои вещи в Вильне для переезда на зиму в Щавры насовсем.

Было тепло и ясно. На станции Крупки ожидала Зябкинская бричка для Берновича и какой-то допотопный фаэтон для нас с Тетей. Впряжена в него была пара заморенных вороних лошадей, взятых у соседа арендатора на пробу. Коган, встретивший нас на станции, очень рекомендовал купить эту пару, потому что кроме сивой тридцатилетней водовозки, купленной Фомичем на торгах, в имении не было ни одной лошади.

Сморенные воронихи потащили нас в Щавры, и мы подъехали к крыльцу, теперь обвитому полуоблетевшим красным витисом, при последних лучах низкого октябрьского солнца. На крыльце нас ожидал сияющий Иван Фомич, а рядом с ним, с хлебом-солью Мишка, одиннадцатилетний мальчишка, бывший пастушонок, которого Фомич приучил к себе. Дом сиял чистотой, но мебели было немного, да и та довольно потрепанная, хотя ореховая и красного дерева. Благодаря

темным коридорам, низким потолкам и небольшими окнам, уютно устроить этот дом было мудрено.

Зато парк в осеннем уборе был еще прекраснее. Пользуясь чудной погодой, Тетя целыми часами гуляла по расчищенным Павлом дорожкам и аллеям, любуясь красотой и уютом усадьбы. «С точки зрения хозяина, лучшей усадьбы желать нечего», – писала Тетя Леле и сообщала о наших мечтах видеть в Щаврах и Шунечку с детками весной, до Губаревки, и его самого зимой, Святками. Ничто так не могло понравиться Тете, как эта непроницаемая зеленая ограда, окружавшая усадьбу. Это придавало ей особенный характер порядка и уюта. Во дворе за сквером, но в ограде, были и все хозяйственные постройки, причники, коровники и пр., все пока пустое, ибо, кроме сивой водовозки, Скудомиры оставили из живности одну лишь собачку и двух кошек. Поэтому мы послушали Когана, и, хотя Фомич и Павел ворчали, что воронье – одры – сморены и опасны, мы поставили их до приезда Вити в конюшню и стали их подкармливать. Витя понял, что лошади хорошие, полукровные, и уступались за двести рублей только благодаря своему изможденному виду. Он немедленно велел закупить овса и поручил Павлу приводить их в порядок, сам три раза в день бегал следить за их чисткой и кормом.

Витя, после всех его бесконечных поездок по ревизии, мог опять взять десятидневную отлучку. Ему начинало нравиться в Щаврах. Мы с ним обошли и объездили все имение, ши-

роко раскинутое фольварками, ездили даже за двадцать пять верст на Выспу. Так назывался принадлежавший к имению остров десятин в двести на громадном озере Селяве, прозванном так по ценной мелкой рыбке, которой нас соблазняли в озере Миадзоль. На остров вела старинная искусственная дамба, так что мы могли на него проехать в экипаже. Вид на безбрежное озеро в пятьдесят верст длины был замечательный, особенно с высокой горы на острове, со следами былой крепости. Павел пробовал нам объяснять, что это бывшая крепость Стефана Батория. Но подтверждение этому в «Спутнике» мы не нашли. Исторические сведения Павла, вероятно, черпались у Судомира и могли быть равноценны сведениям о кушетке Екатерины II в Шклове.

Иногда и Тетя ездила с нами кататься. Бернович повез нам показать «красу имения» пуцу (за три версты). Отчасти вырубленная, пуца была еще богата лесом, и в ней попадались дубы в три обхвата. Теперь, когда мы воочию убедились, что Щавры действительно прекрасное имение, с прекрасной землей, мы предложили Берновичу взять себе всю прибыль, сохранив наш капитал, но за вычетом всех накладных расходов: купчей, куртажей, повинностей и, главное, проценты банку и по семейному капиталу. На заработок за наш риск, наш труд и хлопоты мы себе оставляли одну усадьбу. Бернович был на все согласен, был очень счастлив и усердно ремонтировал себе «аптечку», беленький флигель за сквером, и говорил, что устроится совершенно самостоятельно от нас

со своими землемерами, людьми и лошадьми. Фомич должен был переехать со своей семьей в дом, вести хозяйство, счета, кассу парцелляции, заведовать сдачей аренд и сбором посева. Мы слышать не хотели о продаже центра: лучшей усадьбы, «укрытой» и желать было нечего.

Конечно все это отписывалось Леле в длинных письмах к нему, но ответы его, увы, погибли! Он, кажется, еще не совсем был уверен. На Казанскую мы пригласили щавровского священника. Он отслужил нам молебен с водосвятием. Молодой и картавый, он даже не очень занял Тетю. С бывшими владельцами, хотя и католиками, он был в хороших отношениях, а народ в Щаврах он считал диким и вороватым. Обедню мы стояли в своей бедной церкви с униатским колоколом. Теперь мы рассмотрели речку, отделявшую церковь и усадьбу от села. Действительно, гнилая лужа. Недаром кучер Павел, как оказалось, чуть не лишился места, когда в первый наш приезд сунулся нам пояснять, что это не река. Реки в Щаврах не было. Были колодцы и болотные лужи, а подальше – озера.

«А все-таки было хорошо, право хорошо!» – убеждала я Лелю. То же писала ему и Тетя. Ее все занимало в этой новой непривычной обстановке. Она с утра с широкого крыльца, оттененного витисом, за утренним кофе, следила за постоянными передвижениями по двору Вити, Берновича, Фомича. Она лучше нас уже знала, что переживал Бернович в молодости, слушая лекции агрономии в Венгрии. Он бежал тогда

из Львова, не выдержав общества студентов, которые выпивали по тридцать бутылок на голову. У «аптечки» уже толпился народ, толкуя о продаже земли. Явились покупатели из Седлецкой губернии. Рядом с ним, ДонКихотом, Фомич был настоящий Санчо-Пансо. Он весь день был поглощен хозяйственными делами: запыхавшись, бегал с курами для супа под мышками, гремел ключами по всему двору, поднимал драмы по поводу дороговизны яиц и телятины, сам заказывал обед кухарке Марии и пересматривал каждое яйцо. Мы обедали все вместе, в два часа, в восемь часов ужинали, и это, конечно, было самое оживленное время.

К сожалению, с самого начала, как и следовало ожидать, между Фомичем и Берновичем установилась глухая вражда, и задирой был Фомич, который не мог простить, что Бернович будто сумел нас так «обойти» и занял его место. Придраться к Берновичу он пока не мог, но Бернович вставал поздно, Фомич вставал рано. По этому поводу, неизменно, каждый день, а иногда по три раза в день, Фомич повторял на все лады, кстати и не кстати, что он встал рано или встанет рано: «Молочка попил, корочкой закусил и пошел». Этой «корочкой закусил и пошел» он набил нам все уши.

Что касается расчетов Берновича на большую прибыль, то Фомич очень в ней сомневался и постоянно язвил на этот счет, хотя не мог ничего сказать против них определенного, а так... Но когда у нас был поднят вопрос о вознаграждении, он заявил, что желал бы получить от нас, сверх пятидесяти

рублей в месяц за управление имением, еще по два рубля за каждую проданную десятину, хотя продажа земли его во все не касалась. Витя, как-то необыкновенно любивший этого старика, согласился. Тогда Фомичу показалось, что Бернович все-таки заработает слишком много, и он заявил желание и с Берновича получать по два рубля за каждую проданную десятину, что составило бы уже несколько тысяч. Да кроме того поставил в условие: получение этих четырех рублей за десятину непременно в первую голову, при запродажной, не дожидаясь, когда мы покроем нами затраченный капитал.

Меня взорвала такая жадность, такой эгоизм! Бернович, до сих пор спускавший ему все его выходки, посмеиваясь только над его «корочкой закусил», теперь был задет за живое и деликатно, сдержанно, сумел обратить внимание Вити на то, что «сварливый старик» хватил через край не только в своих требованиях, но и вообще в критике наших действий, т. к. он был не только жаден и мелочен, но и нестерпимый болтун. Чего-чего не говорил он ему же, Берновичу про нас: и доверчивы мы, как дети, и добры, особенно Витя, до безрассудства. И хоть Витя кипит, загораясь как зажженная солома, но стоит какому-нибудь негодюю поплакаться, и он все ему простит, все отдаст. А уж в деле-то нашем мы ровно ничего не понимаем. Витя, конечно, сообщил мне все эти комплименты. И, несомненно, побежал бы к Фомичу за объяснением, спрашивая имя того негодяя, которому он будто

все прощает и все отдает, но Фомич в это самое утро уехал в Минск за женой и за вещами, намереваясь привезти с собой еще какого-то очень преданного ему человека, Викентия, плотника, который за зиму заделает все щели в усадьбе.

Перед отъездом в то утро Фомич поднял вопрос о будущем огороде для себя и преданного Викентия. Такой огород он облюбовал себе и Викентию в самой усадьбе за домом. Когда же я спросила, где же будет экономический огород, он указал на картофельник, вне ограды усадьбы, у большой дороги. «Ну, хорошо же, – подумала я, – его интересы всегда на первом месте, а нам уж потом, что останется; думает, что оседлал нас». Эта мелочь решила участь Фомича. Когда Витя прибежал мне жаловаться на него, в ответ не могло быть двух мнений: с Фомичем надо расстаться и немедленно. Таково было мое мнение, вполне определенное.

Надо сказать, что при ближайшем знакомстве с Фомичем в Щаврах, он начал нас изводить своими жалобами и ворчанием: и труды-то его, и лишения, и неудобства, и печенъ шалит. Нет, в большом деле такой избалованный старик был непригоден. Теперь, когда еще никакого не было дела, он уже изнемогал, что же будет дальше? Но как же это осуществить? На то есть почта и телеграф: заработала почта, и Король прусский написал Фомичу очень вежливое, но решительное письмо, мотивируя трудностью задачи, которая будет ему не по силам, и в особенности не по здоровью: надо же печенъ полечить! А заработал телеграф, и Витя экстренно

вызвал Горошко. Оставить Щавры без надзора и попечения было нельзя: Бернович брал на себя одну только парцелляцию. Мы решили платить Горошко даже шестьдесят рублей, то, что он получал в губернском присутствии, но отнюдь без обязательств платить еще и с десятины. Горошко отличался большой честностью и не был жаден: блестяще закончив продовольственную кампанию в 1908 года Вити, он решительно отказался от всякого вознаграждения, полагая, что он только исполнял свой служебный долг. Звезд он с неба не хватал, но на такого человека можно было вполне положиться. Это назначение нового министра очень утешило Витю, думавшего в первую минуту, что без Гринкевича мы пропадем.

А Горошко был совершенно осчастливлен этим предложением. Когда по телеграмме Вити он прискакал на другой же день, он даже не хотел брать денег на переезд, потому что губернское присутствие неожиданно выдало ему при расчете шестьдесят рублей, и, не теряя времени, поехал за семьей. У него была очень милая жена и трое маленьких детей. Младшая дочка, двух лет, была крестницей Вити. С Иваном Фомичем были сведены все счета. По своей книге я высчитала ему сто дней в поездках и в Щаврах. Чек на триста рублей позолотил пилюлю, и, хотя сюрприз для него и мог быть неприятен, но зима в деревне, далеко от церквей и рынков, а также от сына и внучонка совсем не улыбалась его супруге, да и ему было жаль уезжать от своих домов. Поэтому опера-

ция обошлась без боли, он остался нашим добрым приятелем и только настоял, чтобы преданный Викентий, уже обнадёженный им, все-таки провел зиму в Щаврах за ремонтом «щелей» в усадьбе. Свою незадачу он приписал исключительно интригам Горошко, хотя тот и во сне не ожидал этого назначения. Но по мнению Фомича, Горошко мстил ему за то, что он, Гринкевич, как честный человек, жалея чужие деньги, так сетовал на него за переплаченные семьдесят пять копеек за коленкоровые шторы, приняв какие-то бляхи за «золотые карнизы» на торгах Судомира, уверял он.

Со своей стороны, Бернович винил себя за неудачу Фомича благодаря его рассказам о нем Вите: он никак не ожидал, что от слов к делу у Вити займет пять минут. Но виноват был сам наш бородач. Наслушавшись о прибылях куртажах (куртаж Когана не давал ему спать), он считал за благо и себе выговорить хороший куш из заработка, хотя и повторял, что не верит ему, чем невинно и объяснял свое требование, чтобы ему деньги выдавались вперед...

Вскоре после Казанской мы вернулись в Минск поджидать Оленьку, которая запаздывала из-за болезни своего крестника Шурика Пушкарева. Да и дорога из Владикавказа до Минска была мучительно длинна. Одно ее письмо пропало, одна телеграмма запоздала, словом, бедная Тетушка измучалась. И наконец второго ноября мы получили радостное для нас известие, что она будет у нас на другой день. А в тот же день вечером получили другую телеграмму из Щав-

ров: Бернович телеграфировал о заключении первой сделки. В Пуши им было запродано сто семьдесят пять десятин из-под вырубленного леса крестьянам деревни Самоседовки. На другой день, в день приезда Оленьки, от него было получено и подробное письмо. Сделка прошла блестяще, по сто двадцать четыре рубля за десятину, всего на сумму в двадцать одна тысяча семьсот рублей, и вслед за ней еще другая в Пуше же: тридцать десятин по сто двадцать семь рублей. Задаток, по пять рублей за десятину, он целиком высылал нам. Обе купчие были назначены на пятнадцатое марта, до ссуды Крестьянского банка, которая выдается через полтора года под закладную для того, чтобы убедить покупателей, что теперь задатки не пропадут (как за Судомиром).

Мы были счастливы обрадовать Оленьку таким удачным началом распродажи. И, конечно, я немедленно сообщила все подробности Леле и добавляла: «Считая математически, мы заплатили за этот участок четырнадцать тысяч, а продали за двадцать одну тысячу семьсот. Вычтя тысячу семьсот на купчую, закладную, землемера и прочее, остается двадцать тысяч, т. е. шесть тысяч чистого заработка. Надеюсь, теперь ты будешь покойнее и Шунечка доверчивее. А для почина моя попадья засолила Вам к празднику окорок».

Попадья моя действительно тут как тут явилась в Минск, всегда интересная и полная энергии. Теперь она привезла нам в музей подлинную рукопись о жреце Кейте. Эта рукопись очень интересовала Лелю, и он вообще стал проекти-

ровать прислать к нам экспедицию для изучения старины, которую так усердно собирали наши археологи. «Какого рода экспедиция может быть прислана тобой? Прими в ней сам участие», – уговаривала я его, зная, с каким увлечением он относится к тому, мимо чего другие пройду совершенно равнодушно. Когда я, например, сообщила ему, что нам из Пинского уезда привезли очень искусно сделанные из соломы царские врата и венчальные венцы, ему непременно хотелось, чтобы я их зарисовала, и в каждом письме он спрашивал, нет ли еще чего нового? И чем более его интересовала эта минская старина, тем дороже становился нам этот край, и Тетя не ошибалась, когда писала Леле, что его желание посетить здешние интересные места вызывают в нас радостное чувство, и у нас, по ее мнению, явилось уже чувство собственности к этому краю: «Хвалят все здешнее». Да, это правда. Мы полюбили этот край и за его прошлое, и за его историческое значение.

## Глава 12. Ноябрь-декабрь 1909. Обман Судомира

Вечером, кажется, десятого ноября, к нам зашел старик Дионисий Ионки, чех, у которого в Вильне была землемерная контора. Его младший брат был им поставлен к нам измерять Щавры. Умный и серьезный собеседник, приезжая изредка из Вильны, он заходил к нам побеседовать с Тетушкой. Интересен был он и для Оленьки: хиромант, графолог, гипнотизер, он умел лечить внушением и был знаком со многими обществами спиритов и теософов, которых встречал в Америке, а Оленьку хлебом не корми, только рассказывай о них.

В этот вечер был и Бернович, утром приехавший из Щавров, были наши завсегдатаи: Урванцев и добрейший земский начальник Ганзен-Вощинин Даниил Константинович, которого мы все очень любили. Надежда Николаевна предпочитала проводить вечера в «высшем свете» у Эрдели или у старушки Межаковой, тетушки, с которой жил сменивший Шидловского вице-губернатор Межаков-Каютов.

Разговор у нас был общий, оживленный. Ионки сообщал разные удивительные случаи. Не отставал и Бернович, но по части фокусов и загадок. Стало еще веселее, когда зашел граф Ман-де-Корветто с женой Гаршиной. Этот француженско-итальянский титул, довольно помпезный, мало шел

тому несчастному брату Татá из-за которого она всегда так тревожилась. Усиленными хлопотами, после неоднократного отказа в министерстве, он, наконец, был утвержден земским начальником в Мозырском уезде «по особым соображениям».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.